

*КУЛЬТУРА
И
ТЕКСТ*

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

КУЛЬТУРА И ТЕКСТ

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

**№ 3 (18)
2014**

БАРНАУЛ

КУЛЬТУРА И ТЕКСТ
№ 3(18) 2014

Главный редактор –
Г.П. Козубовская

Ответственные редакторы по разделам: **Лингвистика** – К.И. Бринев;
Литературоведение – Г.П. Козубовская; **Философия. Культурология** – С.А. Ан.

Редакционная коллегия

Бутакова Л.О. (д-р филологических наук, ОмГУ, Омск), Габдуллина В.И. (д-р филологических наук, АлтГПА, Барнаул), Голев Н.Д. (д-р филологических наук, КемГУ, Кемерово), Голубков С.А. (д-р филологических наук, СамГУ, Самара), Гончарова О.М. (д-р филологических наук, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург), Гончаров С.А. (д-р филологических наук, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург), Гребнева М.П. (д-р филологических наук, АлтГУ, Барнаул), Дубровская Т.В. (д-р филологических наук, ПГУ, Пенза), Емельянов Б.В. (д-р филологических наук, УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург), Козлова С.М. (д-р филологических наук, АлтГУ, Барнаул), Колесов И.Ю. (д-р филологических наук, АлтГПА, Барнаул), Крылова Татьяна (переводчик-лингвист, магистр права, Братислава), Лебедева Н.Б. (д-р филологических наук, КемГУ, Кемерово), Мирошникова О.В. (д-р филологических наук, ОмГПУ, Омск), Орлицкий Ю.Б. (д-р филологических наук, РГГУ, Москва), Рогачева Н.А. (д-р филологических наук, ТюмГУ, Тюмень), Семилет Т.А. (д-р философских наук, АлтГУ, Барнаул), Семыкина Р.Н. (д-р филологических наук, ААЭП, Барнаул), Синеокова Т.Н. (д-р филологических наук, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород), Скатов Н.Н. (д-р филологических наук, член-корр. РАН, ИРЛИ, Санкт-Петербург), Строганов М.В. (д-р филологических наук, ТГУ, Тверь), Строганова Е.Н. (д-р филологических наук, ТГУ, Тверь), Трунова О.В. (д-р филологических наук, АлтГПА, Барнаул), Фарыно Ежи (д-р филологических наук, Варшава, Польша), Ходанен Л.А. (д-р филологических наук, КемГУ, Кемерово), Худенко Е.А. (д-р филологических наук, АлтГПА, Барнаул), Яковлева Е.А. (д-р филологических наук, БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа)

Учредитель: ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 54625 от 01.07. 2013 г.

Адрес редакции: 656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55. Тел. 8 (3852) 62-32-57. Адрес электронной почты: galina_mifo@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

В ПОИСКАХ ЖАНРА

Е.Г. Милюгина, М.В. Строганов ЛИЧНОСТЬ АВТОРА-ПУТЕШЕСТВЕННИКА В ТРАВЕЛОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ	6
---	---

НОВЫЙ ФОРМАТ

Danijela Lugarić Vukas WITNESSING THE UNSPEAKABLE: ON TESTIMONY AND TRAUMA IN SVETLANA ALEXIEVICH'S THE WAR'S UNWOMANLY FACE AND ZINKY BOYS	19
---	----

НАУКА В ЛИЦАХ

Агнеш Дуккон ИСТОРИЯ РУССКОГО ВОСПИТАНИЯ – В ВЕНГЕРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ	40
--	----

ТЕКСТ. МОТИВ. ИНТЕРТЕКСТ

И.В. Львова «ДОСТОЕВСКИЙ ПО ГАРПУ»: ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ МОТИВОВ И ОБРАЗОВ ДОСТОЕВСКОГО В РОМАНЕ ДЖОНА ИРВИНГА «МИР ПО ГАРПУ»	53
---	----

Е.А. Московкина МОТИВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РОМАНЕ А. ИВАНОВА «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»	60
---	----

НАД СТРОКАМИ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

А.И. Жеребин СЕРДЦЕ И ГРАНИТ. О СТИХОТВОРЕНИИ РИЛЬКЕ «НОЧНАЯ ПОЕЗДКА»	76
--	----

ЭТНОКУЛЬТУРА

- С.А. Гончаров, О.М. Гончарова**
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ САМОБЫТНОСТЬ АВТОХТОННОГО
СЛОВА (опыт младописьменных литератур Севера, Сибири и Дальнего Востока) 87

ТЕКСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

- З.И. Трубина**
ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ КОММУНИКАТИВНОЙ И
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 104

РЕЦЕНЗИИ

- А.И. Куляпин**
ОТЗЫВ О ДИССЕРТАЦИИ НАТАЛЬИ ЛЕОНИДОВНЫ
ШАЙГАРДАНОВОЙ «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА КАК
ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ВОПЛОЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА» (ЕКАТЕРИНБУРГ,
2014) 116

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

- С.М. Козлова**
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАДИЦИИ ТВОРЧЕСТВА В.М. ШУКШИНА В
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ» 122

- ЭКСПРЕСС ИНФОРМАЦИЯ** 131

В ПОИСКАХ ЖАНРА

Е.Г. МИЛЮГИНА¹, М.В. СТРОГАНОВ²

Тверской государственный университет

ЛИЧНОСТЬ АВТОРА-ПУТЕШЕСТВЕННИКА В ТРАВЕЛОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ³

В центре внимания исследования – личность автора-путешественника и формы ее вербального представления в травелоге нового времени. Исследование, проведенное на материале тверского локального текста, позволяет выявить тенденцию превращения травелога из документального жанра в автодокументальный.

Ключевые слова: русская культура, путешествие, путешественник, травелог, индивидуальный опыт путешествия, эго-текст.

E.G. MILYUGINA, M.V. STROGANOV

(Tver State University)

THE AUTHOR-TRAVELER'S PERSONALITY IN A NEW HISTORY TRAVELOGUE

In the focus of the article lies the personality of travelling writer and forms of its verbal representation in a New History travelogue. Done on

¹ Елена Георгиевна Милюгина, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка с методикой начального обучения Института педагогического образования ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет»

² Михаил Викторович Строганов, доктор филологических наук, профессор, директор научно-исследовательского Центра тверского краеведения и этнографии ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», заведующий сектором координации научных программ Государственного республиканского центра русского фольклора (РГЦРФ, Москва)

³ Исследование выполнено в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Тверской области научного проекта «Верхневолжские водные пути в русской культуре», проект № 14-14-69002

the material of Tver region local texts, the study reveals the tendency of turning a travelogue from a documentary genre to an auto-documentary one.

Keywords: Russian culture, travel, traveler, travelogue, individual traveling experience, ego-text.

В культурологии последних лет наблюдается необычайный бум на литературные путешествия. Анализ путешествий позволяет рассмотреть пространство не в статике (как это делается при описании социального пространства, локальных текстов), а в динамике [Милюгина, Строганов, 2013a]. Конференции, сборники, отдельные издания представляют самые разные подходы к феномену путешествия: экзистенциальный опыт социума; жизненный, мифологический или литературный сюжет [Дискурс травелога, 2008; Труды Русской антропологической школы, 2013; Феноменология, история и антропология путешествия, 2013]. Однако проблема личности путешественника, индивидуального опыта путешествия и форм вербального представления этого опыта до настоящего времени остается на периферии научного внимания [В зеркале путешествий, 2012]. Если по отношению к историческим миграциям древних народов и к различным путешествиям, совершенным знаковыми фигурами древней и средневековой истории, вопросы феноменологии уже поставлены [Зорин, 2004, 2005, 2007, 2009], то об инициативных путешествиях нового времени этого сказать нельзя.

Причина заключается в том, что инициативные путешествия позднего средневековья и нового времени в большей степени индивидуализированы и потому менее поддаются классификациям, нежели путешествия древних. Конечно, и их можно типологизировать по социокультурным функциям: представительские вояжи [Милюгина, 2012], дипломатические поездки [Агеева, 2013], гранд-туры [Ошанина, 1975], паломнические путешествия [Балдин, 2013; Кобищанов, 1999], научные экспедиции [М.В. Ломоносов и Академические экспедиции XVIII века, 2011], частные поездки [Милюгина, Строганов, 2013d]. Наш опыт такой классификации мы изложили в ряде публикаций [Милюгина, Строганов, 2011, 2013b, 2013c]. Однако подобный функциональный подход к типологии, при всех своих преимуществах, наиболее корректно применяется лишь к групповым путешествиям с

определенной иерархией внутри нее. Таковы представительский вояж (монарх в сопровождении свиты), посольство (посол в сопровождении свиты), община паломников, экспедиция (рабочая группа во главе с руководителем), экскурсия (экскурсанты с гидом) и др. Эту модель имитируют более поздние образования типа дорожников и путеводителей, которые сами являются гидами по отношению к читателям. Когда же исследователь обращается к материалам индивидуальных инициативных путешествий, такой подход требует от него обобщения, сведения в воображаемый микросоциум тех путешественников, которые совершали индивидуальные поездки по близким маршрутам в одну историческую эпоху, но в реальности не встречались.

Условное моделирование подобных воображаемых групп, продуктивное для выявления социальных параметров путешествия как формы жизни или рекреации в ту или иную эпоху, чревато утратой внимания к индивидуально-личностному началу путешествий. Чем шире набор параметров типологизации, тем очевиднее в ней отражается социокультурная специфика эпохи, точнее – культурно-исторические потребности социума в путешествии и их реализация. Любой путешественник: купец, дипломат, миссионер, ученый и даже государь – является живым инструментом (живой функцией) социума-отправителя. Дело в том, что, выполняя государственные, торговые и духовные потребности социума-отправителя, путешественник не властен в перемене маршрута, в выборе остановочных пунктов и прочем. Однако в реальном пространстве путешествия этот путешественник не терял своей индивидуальности, поскольку человек, не обладающий самостоятельностью и личной предприимчивостью, совершить путешествия по определению не может. В пространстве текста травелога, который был составлен либо в процессе путешествия, либо по его завершении, индивидуальный, личностный опыт путешественника мог быть выражен в разной степени. Степень этой выраженности зависит от публичного или частного характера текста, от его адресата, от меры востребованности реальным читателем обретенного путешественником опыта и т.д. [Милюгина, 2014].

Стремясь преодолеть ограниченность функциональной типологии, нивелирующей индивидуальность путешественника, мы в настоящей публикации ставим в центр внимания путешествующую личность, феноменологию ее опыта путешествия и формы

представления этого опыта в тех или иных жанрах травелога. Внежанровый анализ травелогов мы считаем в данном случае продуктивным, поскольку жанр, «заданный» путешественнику социумом (реляция, отчет, путеводитель, дорожник и проч.), также функционально ограничен, но за пределы этих границ автор вольно или невольно выходит как живой наблюдатель и непосредственный повествователь.

Конкретным материалом исследования является личностно ориентированный опыт путешественников, осваивавших пространство одного региона; в данном случае это тверской локальный текст [Тверь в записках путешественников, 2012, 2013, 2014]. Путешественники XVI–XVII вв. (дипломаты, купцы, миссионеры), судя по дошедшим до нас источникам, отправлялись только в групповые вояжи, что обусловлено двумя рядами причин: внутренними (задачи поездки) и внешними (трудности пути).

Групповой характер путешествия определяет и общий тон повествования о нем. Так, посол Священной Римской империи С. Герберштейн, датский посол Я. Ульфельдт, географ в составе голландского посольства Н. Витсен не выделяют себя из состава дипломатической миссии. Для их записок характерна форма *мы*, обозначающая некое сообщество, нерушимое на протяжении всего текста. У Герберштейна (1517): «...совершив столь трудный и опасный путь, мы прибыли, проехав семь миль, в Хотилово (Chotilowa), ниже которого переправились через две реки – Шлину (Schlingwa) и Цну (Snai) в том месте, где они сливаются и впадают в реку Мсту, и достигли Волочка (Wolochak); там в день Пасхи мы отдохнули. <...> На следующий день, проплыв семь миль по реке Тверце, мы пристали к Медному (Medina, A Medna). Отобедав здесь, мы опять сели на наше суденышко и через семь миль достигли славнейшей реки Волги, а также княжества Тверь. Здесь мы взяли судно побольше и поплыли по Волге» [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 24–25].

Проблемы и тяготы пути не разрушают единства сообщества и в путешествии Я. Ульфельдта (1578): «...на тех же несчастнейших животных, которые везли нас от Новгорода, мы, <проделав> еще 9 миль, прибыли в город Коломну; отсюда 11 августа мы проделали путь в 5 миль и приехали в город Вышний Волочек <...>. 12-го <августа>

мы снялись с лагеря и вечером этого же дня прибыли в Выдропуск, проделав путь в 7 миль. <...> Отсюда на конях и повозках 13-го августа мы прибыли в Торжок, отстоящий от вышеописанного места на 7 миль. <...> Отсюда мы отправились 14-го <августа> и прибыли в Тверь» [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 26–28].

Перемещение во внешнем пространстве и его переживание авторы XVI в. мыслят одинаково трудными / комфортными для всех участников вояжа, равно как и реакцию на дорожные перипетии и обретаемый в пути внутренний опыт путешествия. Поэтому они описывают путь как общий, единый для всех участников вояжа: в их текстах мы не находим ни индивидуальных переживаний, ни лично-относительных наблюдений. Свой внутренний мир автор как будто не замечает. При этом автор в тексте идентичен автору биографическому, никакого зазора между ними нет.

На фоне подобных обобщенно-личных путешествий XVI–XVII вв. выделяется травелог Н. Витсена (1665). В целом здесь также доминирует слитно движущееся в пространстве Тверского края *мы*: «Проехали 4 мили до Вышнего Волочка <...> Мы снова проехали 6 миль до Выдропужска». Однако эти общие впечатления перемежаются индивидуальными наблюдениями автора: «Здесь я видел, как одна пара танцевала по-польски». А при незапланированной остановке в Торжке слитное *мы* вдруг рассыпается, и появляется *я* автора. Это *я* любопытствует, наблюдает, удивляется, эмоционально восклицает: «Там <в Торжке> видна башня странного строения <Вознесенская церковь, 1653>, которую я зарисовал; есть здесь и <Воскресенский> женский монастырь <XVI в.> 8–11 января. Любопытство привело меня в дом купца, куда я был приглашен на обед <...> Я видел здесь попа, выходящего из церкви, с крестом и еще во всем облачении, с кропилом и т.п. прямо со службы, он был пьян, приставал, как это делают пьяницы, выкрикивал множество глупых слов и чуть не подражал с нами. Я видел также, как дети слетали с высоких, крутых гор на длинных дощечках быстрее стрелы из лука, ужас!» [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 33–37].

Любопытствующее *я* Витсена – это не просто созерцатель, но человек действия, который не лишен склонности к авантюрам и потому готов предпринять незапланированную поездку инкогнито, сама мысль о которой для члена посольской миссии недопустима: «Наступал большой праздник поклонения волхвов <Богоявление>; я

очень охотно тайком отправился бы в Москву, откуда мы находились только в двух днях пути, чтобы там посмотреть на праздник» [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 38]. Впрочем, Витсен не покидает миссии, и дальнейшее путешествие в Москву описано в традициях Герберштейна и Ульфелдта – с единым, слитным *мы*.

Таким образом, в движении по мерно размеченному верстами и ямскими слободами пространству авторы травелогов XVI–XVII вв. мыслят себя едиными со своими спутниками; этого единства не разрушают даже постоянно возникающие дорожные опасности, которыми так же мерно насыщен путь. Этот опыт переживания пути выражен в тексте обобщенным образом повествователя *мы*. И только непредвиденная остановка в пути или затянувшаяся сверх ожиданий задержка взрывают в сознании автора инерцию заданного отправителем или спутниками размеренного движения, инерцию метра маршрута. Аритмия пути [Милюгина, Строганов, 2013а, с. 73–75] высвобождает личную инициативу, и если в пути такая остановка случается, то в тексте проявляется личность автора, его *я*, пока еще, правда, биографическое.

В травелогам начала XVIII в. форма повествования изменяется, что является симптомом формирования нового сознания путешественника. Приведем характерный пример того, как прежнее обобщенно-личное *мы* начинает вытесняться авторским *я*. Тверской маршрут датского посланника Ю. Юля, запечатленный в его записках (1709), полностью совпадает с маршрутом Герберштейна: «26-го. <...> Из <Хотилова выехал> в 4 часа и, <сделав> 35 верст, прибыл в 8 ч. вечера на царское подворье в Вышний Волочек, где был пятый ям. <...> Из <Вышнего Волочка> выехал в 9 часов и, <сделав> 35 верст, прибыл в час в Выдропуск <...>. Отправился оттуда далее в 3 ч. утра. 27-го. <Сделав> 35 верст, прибыл в 8 часов утра в город Торжок, где был 6 ям. <...> Выехал я из <Торжка> в 9 ч. и, <сделав> 34 версты, прибыл в 3 часа пополудни в Медное, <где> меня снова ввели в царский дом. Покормив <лошадей>, выехал из <Медного> в 4 часа и, <сделав> 27 верст, прибыл вечером в Тверь». Но субъектная подача текста здесь иная: *я* сменило *мы*, и это означает, что путешественник мыслит себя отдельно от спутников даже в том случае, когда путешествует во главе миссии. Смена авторского позиционирования в

тексте – не формальность: это сигнал, что путешественник осмысляет себя индивидуальностью, выделяет себя из массы путешествующих вместе с ним. Поэтому наблюдения и переживания пути обретают индивидуально-личностную окраску: «Свистали они <скоморохи> так громко, что стена отражала звук, и хотя <все эти люди> стояли против меня, казалось, что они одновременно находятся и спереди, и сзади»; «В санях, несмотря ни на какой холод и мороз, мне лежалось так хорошо и тепло, что, когда по моему приказанию их закрывали со всех сторон, я скорее мог бы пожаловаться на жару, чем на холод»; «Тут <в Вышнем Волочке> осмотрел семь флейтов, стоящих на Мсте <...> Суда эти построены из дуба, с виду красивы и изящны, но <сидят> неглубоко и груза <подымают> весьма мало». Однако переход с *мы* на *я* произошел не сразу и охватил не всех людей: секретарь посольства Юля Р. Эребо в параллельном тексте сохраняет традиционное для предшественников обобщенно-личное *мы* [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 43–48]. Очевидно, позволить себе новую форму репрезентации могло пока только лицо высокого социального статуса.

Впрочем, подобная форма могла быть результатом не только позиционирования автора, но и реакцией на уважительное отношение автохтонов, подтверждающее признание его высокого статуса другими. Гольштейнский дворянин Ф.-В. фон Берхгольц (1721) писал: «Здесь <в Городне>, когда я обедал, священник <церкви Рождества Богородицы> поднес мне с низким поклоном большой хлеб, на котором сверху лежала соль. Таков национальный обычай, соблюдаемый с знатными людьми. Я, со своей стороны, подарил ему полтину» [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 58].

Обратиться к форме *я*-высказывания путешественников по-прежнему побуждают импульсы удивления и желание запечатлеть в травелеге обретенный в пути личный познавательный и эмоциональный опыт. Так, ганноверский резидент Ф.Х. Вебер (1716, 1718) с увлечением пишет о проведенном им микроисследовании появления финнов (карел) на Тверской земле: «В одном селении близ города Твери я с удивлением услышал двух русских, говоривших на чуждом языке, именно на финском. Когда я спросил их, русские ли они и если природные русские, то не жила ли они в Финляндии, они сначала не хотели совсем отвечать, но наконец сказали, что они русские и никогда далеко от своей деревни не уходили, а выучились

говорить по-русски и по-фински от своих родителей; при этом они указали мне на одного старика, который мог сообщить мне более сведений по этому предмету. Этот старик рассказал, что отец его, в числе нескольких тысяч других финских жителей, во время смут и враждебных столкновений между русскими и шведами оставил свое отечество и отдался под покровительство царя; эти колонии поселились в разных местах до самой Твери и до сих пор удержали финский язык, хотя и довольно уже испорченный» [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 54]. В этом фрагменте отчетливо выражено авторское *я* с характерными для него эвристическими наклонностями, тогда как в целом травелог имеет невыевленного повествователя.

Собственно говоря, всё дальнейшее движение травелога строится именно в направлении от невыевленного автора к персонифицированному и даже однозначно идентифицируемому. Новая литература восстанавливает равенство автора текста и автора биографического, но уже на новом уровне развития. Так, в частности, А.Т. Болотов представляет себя как путешественник, который организует путешествие и разрабатывает его возможный сценарий: «Всех нас было пятеро: я, да двое слуг, да два повозчика, ибо отправлялся я на двух повозках. Для себя избрал я маленькую дорожную и самую легкую покоевую коляску, а другая повозка была с нашею дорожною провизиею и самая та, на которой приехал ко мне из Кашина посланный. Чтoб придать обоим моим слугам некоторый вид военных людей, то одел я их в красные камзолы с рукавами и синими обшлагами и воротниками, и препоясал замшевыми портупьями, с привешенными на бедрах их старинными палашами» [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 66]. В этом смысле он напоминает западного путешественника допетровских времен. Но он иронизирует над своими сборами и приготовлениями, которые по преимуществу оказались напрасны, – и в этом смысле он уже человек нового времени.

В знаменитом и ключевом для русской культуры путеводителе И.Ф. Глушкова (1801) мы пока еще видим невыевленного автора, который проявляется в лирически окрашенных фрагментах повествования: в описании панорамы Торжка и интерьеров Борисоглебского собора, в описании спуска кораблей на воду в

Вышнем Волочке, в описании окрестностей Твери [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 145–170]. Глушков, как можно судить, был личностью яркой и литературно одаренной. Но из его путеводителя мы никоим образом не можем узнать, что он достаточно крупный петербургский чиновник. Автор не представляет себя как персонажа, ибо такая репрезентация ему ничего не дает.

Следующий важный шаг в формировании персонифицированного автора делает А.О. Ишимова (1844), которая ведет повествование в травелоге от лица некоей дамы, которая занимает по отношению к семейству, с которым она путешествует, близкое, но не родственное положение, так что в конце концов читатель понимает, что повествовательница – гувернантка молодых людей [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 263–281]. Ишимова сознательно манифестирует социальный статус повествовательницы, выражает круг ее культурных запросов и педагогических функций, изображает ее ролевое поведение в диалогах и непосредственных контактах с другими персонажами повествования. Читателю, знакомому хотя бы с отдельными биографическими данными Ишимовой, совершенно ясно, что автор путешествия имеет прототипическую основу в авторе Ишимовой. Но полной идентификации пока еще нет, как нет идентификации между персонажем и прототипом.

Совершенно оригинальную форму идентичности биографического автора и автора в тексте (путешественника) создает известный историк М.И. Семевский, издатель журнала «Русская старина». Путешествие Семевского (1861) в целом тоже оригинально: он посещает почти исключительно учебные заведения и пишет в основном о них. В Твери, выйдя из здания дворянской гимназии, Семевский оказывается на Соборной площади, за которой он видит Путевой дворец. К нему подходит местный житель преклонных лет и заводит разговор, в ходе которого начинает резко критиковать историков самых разных направлений. «Немцев» он критикует за то, что они «немцы»: «разные Гольцы, Берхгольцы, Швульцы, Шульцы, черт знает какие Гольцы». В этом ожесточенном выпаде звучит имя гольштейнского дворянина Ф.-В. фон Берхгольца, автора путевого дневника 1721–1724 гг. с описанием четырех поездок через Тверской край [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 57–64]. Из русских историков персонально обругивается «Михаил Николаич Л-в», т.е.

М.Н. Лонгинов, литератор, поэт, историк литературы, позднее начальник главного управления по делам печати Министерства внутренних дел. Наконец собеседник заявляет: «А теперь этот Семевский... Извольте знать?» И автор-путешественник пишет: «Я отвечал отрицательно» [Тверь в записках путешественников, 2014, с. 52]. Собеседник зло отзывается об исторических сочинениях Семевского, еще один раз называя его по фамилии.

Был ли такой инцидент или это длинноротый анекдот – для нас не важно. Кстати заметим, что анекдотическое столкновение точек зрения путешественника и автохтона – это вообще любимый прием травелога как жанра массовой литературы. Анекдотами полны в обязательном порядке все травелоги иностранцев (быть в варварской России и не увидеть ничего замечательно смешного просто невозможно). Но и русские путешественники: и Глушков, и Ишимова, и П.И. Небольсин [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 324–349] – так или иначе обращаются к анекдоту или анекдотическому приключению. Даже сугубо лингвистическое наблюдение может быть подано как анекдот, как любимая поговорка новаторов «Нашей рицы цыщи в свицы нит» (Нашей речи чище в свете нет). Даже лишенный скептического склада мыслей путешественник (как, например, Ф.Н. Глинка) прибегает к анекдоту, хотя и историческому, рассказывая о местных достопримечательных людях и событиях [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 171–240].

Тут у Семевского ничего новаторского нет. Перед нами в любом случае специальный литературный прием, цель которого состоит в том, чтобы создать комический эффект и идентифицировать автора травелога. Автор травелога историк Семевский не стремится оспаривать своего собеседника и тем самым утверждает, что стоит существенно выше его, поскольку игнорирует его инсинуации. Игнорирование позиции собеседника лишний раз утверждает справедливость позиции автора травелога как историка и адекватность его взглядов на современность как путешественника. Смех в данном случае на самом деле оказывается оружием сильного.

Такой прием время от времени встречается в литературе. Например, в поэме А.А. Ахматовой «Реквием» автор поэмы – это именно Ахматова, а не собирательный образ женщины, пережившей

репрессии советской России 1930-х гг. Возможно, нечто аналогичное мы видим и в живописи, когда художник, как Веласкес в «Менинах», изображает самого себя как одного из персонажей. Но применение этого приема в данном случае несколько иное. Он превращает травелог из документального жанра, каковым мы его видим еще у Ишимовой, в автодокументальный жанр. Травелоги Глушкова и Ишимовой, при всех их различиях, свидетельствуют о дороге, о путешествии. Травелог Семевского свидетельствует не только о путешествии, но и о нем самом.

В дальнейшем это автодокументальное начало станет едва ли не обязательным для всех травелогов. Авторы не только не будут скрывать своего авторства, но станут нарочито демонстрировать его. Но это будет уже совсем другая тема.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Агеева, О.Г. Дипломатический церемониал императорской России. XVIII век / О.Г. Агеева. – М.: Новый хронограф, 2013. – 928 с.

Балдин, К.Е. Русские в Святой земле: паломнические дневники как источник / К.Е. Балдин // Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований. – 2013. – № 2. – С. 45–52.

В зеркале путешествий: материалы международной научной конференции «Родная земля глазами стороннего наблюдателя. Заметки путешественников о Тверском крае» / ред.-сост. Е.Г. Милюгина, М. В.Строганов. – Тверь: СФК-офис, 2012. – 320 с.

Дискурс травелога: сборник статей / авт.-сост. О.Ф. Русакова, В.М. Русаков. – Екатеринбург: ИМС – ИД «Дискурс-Пи», 2008. – 184 с.

Зорин, И.В. Феноменология путешествий: в 8 ч. / И.В. Зорин. – М.: Советский спорт, 2004–. Ч. 1: Этнология путешествий. – 2004. – 128 с.; Ч. 2: Мифология путешествий. – 2005. – 254 с.; Ч. 3: Философия путешествий. – 2007. – 443 с.; Ч. 4: Апостольство путешествий. – 2009. – 274 с.

Кобищанов, Ю.М. Встреча христианских цивилизаций в святых местах Палестины и Египта (глазами русских паломников XV–XVIII веков) / Ю.М. Кобищанов // Богословские труды. – 1999. – № 35. – С. 197–204.

М.В. Ломоносов и Академические экспедиции XVIII века / авт.-сост. О.А. Александровская, В.А. Широкова, О.С. Романова, Н.А. Озерова. – М.: РТСофт, 2011. – 272 с.: 210 ил.

Милюгина, Е.Г. Образ Тверского края в «Путешествии Екатерины II в полуденный край России в 1787 году» / Е.Г. Милюгина // Вторые Конкинские чтения: сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием / отв. ред. М.В. Мосин. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2012. – С. 156–160.

Милюгина, Е. Г. Путевые эго-документы: пространство физическое и ментальное / Е.Г. Милюгина // Эго-документальное наследие российской провинции XVIII–XXI веков: проблемы выявления, хранения, изучения, публикации: сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. Любина. – Тверь: СФК-офис, 2014. – С. 200–206.

Милюгина, Е.Г., Строганов, М.В. Динамический текст русской культуры: пространство в зеркале путешествий / Е.Г. Милюгина, М.В. Строганов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Филология. – 2013. – № 3. – С. 70–77.

Милюгина, Е.Г., Строганов, М.В. Из опыта работы над сводом травелогов «Тверской край в записках путешественников XVI–XX веков» / Е.Г. Милюгина, М.В. Строганов // Труды Русской антропологической школы. М.: РГГУ, 2013. – Вып. 13. – С. 203–214.

Милюгина, Е.Г., Строганов, М.В. Принципы изучения «тверских» травелогов XVI–XX веков / Е.Г. Милюгина, М.В. Строганов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Филология. – 2011. – № 3. – С. 37–43.

Милюгина, Е.Г., Строганов, М.В. Русская культура в зеркале путешествий: монография / Е.Г. Милюгина, М.В. Строганов. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rfh.ru/downloads/Books/134493002.pdf>. – (Дата обращения: 12.12.2013).

Милюгина, Е.Г., Строганов, М.В. Частное путешествие как документальный жанр: тверской материал / Е.Г. Милюгина, М.В. Строганов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Филология. – 2013. – № 6. – С. 39–45.

Ошанина, Е.Н. Дневник русского путешественника первой четверти XVIII века / Е.Н. Ошанина // Советские архивы. – 1975. – № 1. – С. 105–108.

Тверь в записках путешественников XVI–XIX веков / сост., вступ. ст., биогр. справки, подгот. текста и коммент. Е.Г. Милюгиной, М.В. Строганова. – Тверь: ТО «Книжный клуб», 2012. – 416 с.: ил. + 16 с. цв. ил.

Тверь в записках путешественников. Вып. 2: Записки XVIII–XIX веков / сост., вступ. ст., биогр. справки, подгот. текста и коммент. Е.Г. Милюгиной, М.В. Строганова. – Тверь: ТО «Книжный клуб», 2013. – 436 с.: ил. + 16 с. цв. ил.

Тверь в записках путешественников. Вып. 3: Водные пути Верхней Волги. Вторая половина XIX – начало XX века / сост., вступ. ст., биограф. справки, подгот. текста и коммент. Е.Г. Милюгиной, М.В. Строганова. – Тверь: ТО «Книжный клуб», 2014. – 464 с.

Труды Русской антропологической школы. – М.: РГГУ, 2013. – Вып. 13. – 355 с.

Феноменология, история и антропология путешествия: тезисы международной Гумбольдтовской конференции / сост., ред. М. Кобельт-Гробах, О. Кулишкина, Л. Полубояринова. – СПб.: Свое издательство, 2013. – 180 с.

НОВЫЙ ФОРМАТ

DANIJELA LUGARIĆ VUKAS¹

(Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb)

WITNESSING THE UNSPEAKABLE: ON TESTIMONY AND TRAUMA IN SVETLANA ALEXIEVICH'S THE WAR'S UNWOMANLY FACE AND ZINKY BOYS²

Perhaps following Michel Foucault's notion from *The History of Sexuality: An Introduction*, where the French philosopher argues that Western societies became obsessed with the task of confessing and producing truth (which turned the Western man into „a confessing animal“), Shoshana Felman claims that „testimony [is] [...] the literary – or discursive – mode *par excellence* of our times, and [that] [...] our era can precisely be defined as the age of testimony“ [Felman, 1992, 5]. Defining it as a new form of literature, various scholars compare the genre of testimony with classical autobiographical and/or confessional forms of textuality and emphasize that testimonial literature significantly differs from previous textual forms in its appellative function. The unusually important role of the listener (or the witness of the testimonial speech act) rapidly alters the relationship between the subject (a witness) and the object (a listener) of a speech act. If we understand testimonial literature in a broader sense, i.e. as a form of textuality that refers to the abuse of human rights, violence and war, we could simultaneously consider it as a statement and as a declaration of the (un)speakability of a trauma. Considering the fact that literature in general and especially testimonial literature present a form of representation *par excellence*, while trauma illustrates exactly the opposite, i.e. a crisis in

¹ Даниела Лугарич Вукас, доктор гуманитарных наук. Работает в качестве высшего ассистента на Кафедре русской литературы на Философском факультете Загребского университета. Заведующая Институтом литературоведения Философского факультета Загребского университета. Область научных интересов: литература и культура позднего социализма и постсоветской России; отношение власти и литературы; нарративизация воспоминаний.

² Статья публикуется в авторской редакции и на языке оригинального варианта.

representation, testimonial literature is structured around extremely complex tensions between expressivity and speechlessness, the speakable and unspeakable and representative and non-representative. In that respect, the relationship between the subject (a witness) and the object (survivor's recollections) of a speech act is distorted on another level. Traumatic experience is, namely, almost never represented in a form of a „simple memory“ [Caruth, 1995, 151]. Every testimonial act therefore inevitably faces the question of finding the adequate discursive medium for the transfer and articulation of that experience. That search often results in narrative strategies that are characterized by the fact that *they govern the subject that pronounces them* (as in the cases of uncontrolled/unwilling speech acts in cases when recollection of traumatic experience comes to its critical pinnacle).

By means of a close reading of testimonial narratives by war survivors, collected by the Belarusian writer Svetlana Alexievich in her works *The War's Unwomanly Face* (1985) and *Zinky Boys* (1991), my aim is to address and closely analyze the aforementioned tensions located inside the body of testimonial literature.

Keywords: testimonial literature, Svetlana Alexievich, cultural memory, autobiography, language of trauma

ЛУГАРИЧ ВУКАС ДАНИЕЛА

Загребский университет

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О НЕВЫРАЗИМОМ:
О ЖАНРЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И О ТРАВМЕ В ТЕКСТАХ
С. АЛЕКСИЕВИЧ**

«У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики»

Определяя жанр свидетельства как новую форму литературы, характерную именно для литературы конца XX и начала XXI веков [Felman, 1992, с. 5], разные ученые сопоставляли этот жанр с классическими автобиографическими способами повествования и одновременно подчеркивали, что свидетельства отличаются своей четко выраженной аппелятивной функцией. Необыкновенно важная роль слушателя (т.е. свидетеля речевого акта свидетельства) влияет на структуру и динамику отношений между субъектом (свидетель) и

объектом (слушатель) речевого акта. Одновременно, если жанр свидетельства понимать в более широком смысле, т.е. как нарративную форму, которая свидетельствует о лишении человеческих прав, насилии и последствиях войны, этот жанр в то же время изображает (не)выразимость травмы. В этом смысле следует подчеркнуть, что в то же время как литература представляет собой «возможность репрезентации», т.е. возможность представления одного в другом и посредством другого, травма является хорошим примером «кризиса репрезентации». В итоге, жанр свидетельства основывается на особенно комплексных внутрижанровых тензиях между выразительным и невыразительным, представляемым и непредставимым, причем свидетельства о травматических опытах одновременно являются свидетельствами их непреодолимости. Из-за символической аморфности опыта травмы, история травмы является историей молчания, историей вытесненного, непроговоренного, из-за чего свидетель «неизбежно сталкивается с проблемой поиска адекватных дискурсивных средств» [Ушакин, 2009, с. 16]. В том числе следует подчеркнуть, что отношения между субъектом и объектом речевого акта в жанре свидетельства нарушены также на уровне свидетеля (субъекта) и им произносимого свидетельства (объекта).

Эта статья представляет собой попытку анализа выше упомянутых внутрижанровых тензиях в отношении субъекта (свидетель) и объекта (слушатель; произносимая речь свидетеля) на примерах свидетельств, собранных белорусской писательницей Светланой Алексиевич в ее книгах *У войны не женское лицо* (1985) и *Цинковые мальчики* (1991).

Ключевые слова: жанр свидетельства, Светлана Алексиевич, культуральная память, автобиография, язык травмы

1. Introduction

Autobiographical genres, which P. Lejeune defines as “all retrospective narrative prose written by a real person concerning his own existence” [Lejeune, 1989, p. 193], pose an intriguing problem for literary theory when it comes to the problematic relationship between the narrating subject and object activated by such narrative mode (the Other). From the 70s up until today, the autobiographic discourse has been a common topic

of research for numerous literature theoreticians and historians, who have focused primarily on the issues of the importance, role and nature of the Other in the creation of the author's subjectivity [see e.g. Burt, 2009]. In this respect, the "I" of an autobiography can neither be textually represented nor available to its author or reader, except as an object of their own desires, ideas and thoughts. This wide and heterogeneous problem area in literary theory has attracted the interest of some of the most prominent philosophers in the field, such as J. Derrida and P. de Man. In my paper, I will attempt to reduce the manifold problem of the autobiography to the following two aspects:

1. the subject as a narrator who in the course of his or her testimony becomes the object of his or her own speech due to "genre memory" (Bakhtin) and other types of "superconsciousness" governing the speech act;
2. the subject as a narrator, the signatory party of the autobiographical testimony in relation to the object of testimony – the real or implied interlocutor.

These problems can undoubtedly be observed on a range of various autobiographical genres, whereby each narrative type would offer different answers and interpretations to the question of the relationship between the subject and object of an autobiography. However, this paper will focus exclusively on the genre of testimonial literature, or to be more exact, on Svetlana Alexievich's testimony collections *The War's Unwomanly Face* (*Войны не женское лицо*)¹ and *Zinky Boys* (*Цинковые мальчики*).²

¹ *The War's Unwomanly Face* is Svetlana Alexievich's first collection containing testimonies of women who were 15 to 30 years old during World War II. The book was first published in Minsk in 1985. In the same year, it was translated to Bulgarian and Chinese, and in the following years also to Czech, Vietnamese, German, English, Hungarian, Romanian, Finnish and numerous other languages. In Russia, it was first published in 1988 and appeared in several editions. In this paper, I will use the edition from 2012 which is available online: <http://www.alexievich.info/booksRu.html#1>. When quoting from the *The War's Unwomanly Face*, I will use a shortened version of the title (*U voiny*) and pagination.

² The book was first published in Moscow in 1991. In this paper, I will use the edition from 2006, which is available online:

Testimonial literature imposes itself as an especially grateful material for analysis because it is in many ways a hybrid genre, a genre

between oral narration and written representation; between mimetic and diegetic narration; between reporting and confessional reflections; between a narrative reconstruction of the witness's past and their present identity; between the documentary and artistic, historiographic and publicistic discourse; between the credible and skeptical; between the whole and the fragmentary; between reliable and unreliable; between the speakable and unspeakable (Jambrešić Kirin, as cited in Zlatar 2004: 163).

The latter feature of testimonial discourse – its location between the speakable and unspeakable – is inherently connected to the question of narrating trauma, which is at the centre of my analysis. As Cathy Caruth suggests in her interpretation, that is based on Freud's earlier model of trauma from *Beyond the Pleasure Principle* (1920) and *Moses and Monotheism* (1938) in *Unclaimed Experience. Trauma, Narrative, and History* (1996), traumatic experience „does not simply serve as record of the past but precisely registers the force of an experience that is not yet fully

<http://www.alexievich.info/knigi/ZinkovyeRus.pdf>. The book was named after galvanized (zink) coffins in which bodies of soldiers killed in the war in Afghanistan were transported back to Russia. Although the collection of testimonies entitled *The Chernobyl Prayer: A Chronicle of the Future* (Чернобыльская молитва. Хроника будущего, Moscow, 1997) is undoubtedly Alexievich's most famous book, much attention was also drawn to her other works, which, together with *The War's Unwomanly Face*, form the five-volume cycle *Voices from Big Utopia* (Красный человек. Голоса утопии.). In 1985, she published the collection of testimonies by children who were between 7 and 15 years of age during the war (*The Last Witnesses. Unchildlike Stories* – Последние свидетели. Книга недетских рассказов, Moscow 1985). Testimonies of people who committed suicide because they experienced the end of the USSR as a trauma were published in 1993, i.e. 1994 (*Enchanted with Death – Зачарованные смертью*, Minsk 1993; Moscow 1994). In 2013, Alexievich published the last, fifth volume under the title *Second-Hand Time* (Время секонд-хэнд), in which she portrays how the end of the USSR was experienced by those who spent the most of their lives predicting a “bright future”. When quoting from the *Zinky Boys*, I will use the title's initials (CM) and pagination.

owned“ [Caruth, 1995, 151]¹. This aspect significantly complicates or even undermines the inscription of individual trauma into the body of factual history, which is also exemplified by the inability of the post-Soviet public to accept the authenticity of testimonies collected in Svetlana Alexievich's books and incorporate them into the canon of historiographic narratives about World War II and the Soviet war in Afghanistan (for more on this subject see the reactions of censorship in *The War's Unwomanly Face* and trial documents in *Zinky Boys*). Andrea Zatar points to two key reasons for the (un)speakability of trauma: the first is philosophical and refers back to the notion of “the unspeakability of the in-human as such” [Zlata, 2004, 182] and second is the psychiatric and analytical reason, i.e. the notion that radical traumatic events leading to the depersonalization, dehumanization of an individual and the loss of his/her identity “can neither be ‘worked through’, ‘verbalized’ or ‘spoken’ nor resolved” [ibid., 182; cf. Wilkinson, 1997/1998, 106].²

¹ Numerous scholars addressed the question of representation of trauma in the aftermath of catastrophe. Here I will mention only some of the groundbreaking works in this interdisciplinary field: **Ahmed, S.; Stacey, J.** „Testimonial Cultures: an Introduction“. – *Cultural Values*, 5 (1), 2001. Pp. 1-6.; **Berlant, L.** „Trauma and Ineloquence“. – *Cultural Values*, 5 (1), 2000. Pp. 41-58; **Hirsch, M.** *Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory*. – Harvard University Press, 1997.; **Hirsch, M.** „The Generation of Postmemory“. – *Poetics Today*, 29 (1), 2008. Pp. 103-128.; **Hirsch, M.** *The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust*. – Columbia University Press, 2012.; **Probing the Limits of Representation: Nazism and the «Final Solution»** / Friedländer, S. (ed.). – Harvard: Cambridge University Press, 1992.; **The Image and the Witness: Trauma, Memory and Visual Culture**. / Guerin, F., Hallas, R. (eds.). – London: Wallflower Press, 2007.; **The People's War: Responses to World War II in Soviet Union**. / Thurston, R. W.; Bonwetsch, B. (eds.). – The University of Illinois Press, 2000; **Trauma and Visibility in Modernity**. / Saltzman, L.; Rosenberg, E. (eds.). – Dartmouth College Press, 2006.; **Tumarkin, N.** *The War of Remembrance*. // Stites, R. (ed.). / *Culture and Entertainment in Wartime Russia*. – Indiana University Press, 1995. Pp. 194-207.; **Young, J. E.** *At Memory's Edge: After-images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture*. – Yale University Press, 2002.

² For Dominic LaCapra, as Zlata's interpretation of his arguments suggests, trauma cannot be textually represented, without it being “‘entered’, ‘experienced’ or ‘reenacted’” [Zlata, 2004, p. 182-183]. Similarly to LaCapra, Judith Butler argues that “trauma [...] itself cannot be directly symbolized in

In this context it should be mentioned that while literature constitutes the “*study and possibility of representation*” [Zlatař, 2004, 182], trauma serves as an example for the “crisis of representation” [ibid.]. Consequently, the genre of testimonial literature is itself based on extremely complicated inner tensions between the speakable and unspeakable; between what can and cannot be represented. These tensions are also reflected in the specific structure of Alexievich’s “polyphone novels” (as they were characterized by the Russian culturologist Petr Vail in 2008), which contain a series of stories spreading in concentric circles. Individual memories are occasionally interrupted by authorial comments which provide at least a thematic link between disparate narratives. However, in spite of these authorial interventions, each testimony remains a separate entity only loosely connected to other stories.¹ The gap between traumatic experience and its linguistic representation, which forces the subject attempting to verbalize trauma to incessantly search for adequate and sufficiently eloquent discursive modes of expression, is so deep that traumatic experience cannot be verbalized through the classic narrative framework characterized by clear causal relations and spatial and temporal coordinates. As it is known, symptoms of trauma often occur in the form of flashbacks, amnesia and fragmentary memory. As a consequence, trauma cannot become ““a narrative memory” that is integrated into a completed story of the past” [Caruth, 1995, 153]. Moreover, Caruth also argues that:

the history that a flashback tells [...] is therefore a history that literally *has no place*, neither in the past, in which it was not fully experienced, nor in the present, in which its precise images and enactments are not fully understood [ibid.; cf. LaCapra, 2001, 186].

language. [...] It persists as the real, where the real is always that which any account of reality fails to include” [Butler, 1993, p. 192].

¹ In the context of the external composition of Alexievich’s works it is significant that the collection *The War’s Unwomanly Face* begins with verses from the anthological poem *Verses on the Unknown Soldier* (*Стихи о неизвестном солдате*) by O. Mandelstam. Mandelstam’s poem is not only Mandelstam’s longest but also his most enigmatic text in which, according to Oleg Lekmanov, “every word is a bundle of meanings directed in every possible and not just one direction” [Лекманов, 2013]. Similarly to Alexievich’s collections, the poem does not have a unique theme which would incorporate all the motifs into a single unit, so its structure is based on the arrangement of several, mutually unrelated motifs [ibid.].

2. The Subject as an Object of Its Own Trauma: “It’s not me, but my troubles speaking...” («Это не говорю я, это горе мое говорит...», *U voiny*: 154)

In every autobiographic writing, including testimonial literature, the subject’s linguistic competence is the necessary precondition for the articulation of its “I”: “The subject is an effect of the representation process, it is the effect of its own narration. In order for this to be possible, the subject must first ‘appropriate’ language” [Zlatar, 2004, 26]. What happens to the subject and does the subject even come to the fore if autobiographic discourse is structured around trauma, i.e. around the unspeakable, around something that does not have a language that the subject could appropriate? The representational, i.e. linguistic impotence of the subject to express its suffering is present in almost all of the testimonies collected by S. Alexievich. By comparing testimonial literature to literature in general as the representational discourse *par excellence*, the following excerpt serves as a particularly illustrative example for the deeply problematic representational nature of testimonial literature: «Я читала много военных книжек, там красиво наспиано. А мне рассказать нечего...» (СМ, 87). In cases when the emotional weight of trauma reaches its pinnacle, witnesses often resort to examples from literature. Consequently, one witness poses the following question: «Как там в сказке? Я – раб волшебной лампы Аладдина» (СМ, 79). Another witness who speaks about the trauma of waiting for her son to return from the battlefield says: «Ждала его, как у Симонова: жди меня, и я вернусь» (СМ, 74). Survivors of the war are at the same time witnesses of dying and dead comrades and enemies:

Человек умирает совсем не так, как в кино. Не по Станиславскому человек умирает. Попала пуля в голову – взмахнул руками и упал. А на самом деле: попала пуля в голову, мозги летят, а он за ними бежит, может полкилометра бежать, и их ловит (СМ, 41).

In these examples, trauma is represented and mediated through intertextual quotes taken from narratively more competent subjects, i.e. trauma is represented with the help of narrative procedures significantly deprived of the speaker's subjectivity. In that respect, it is possible to argue that various tropes (including the trope of Stanislavsky’s artistic legacy,

Konstantin Simonov's famous song, and fairytale motif) mobilize the work of traumatic memory. It could therefore be said that in the case of testimonial literature narrative procedures are not articulated by the subject, but rather that the quotes in question *articulate the subject itself*. The subject-object relationship is therefore significantly destabilized, so that the speaking subject becomes an object articulated by quotations. In other words: *in testimonial texts trauma itself acquires the status of the subject articulating the testimony, turning the speaker (yet again) into the object of his or her own trauma*.¹ The reason for this lies in the individual's inability to experience and process trauma in the moment when it occurs, i.e. in the "belatedness" of trauma.² As suggested by V. Biti, the subject can "submit

¹ In the *Introduction* to an anthology dedicated to the notion of trauma, Sergey Oushakin argues that the unspeakability of trauma "threatens to become the foundation of the next – secondary – traumatization" [Ушакин, 2009, p. 30]. In testimonies collected by Alexievich there is a number of examples supporting this claim, which has also been a topic of one of my previous analyses entitled *The Body as a Communicative Resource (On War and Trauma in The War's Unwomanly Face and Zinky Boys)*, presented on a symposium under the title *Corporeality in Literature* which was organized by Department of East-Slavic languages and literatures, University in Zagreb, and held in Lovran in May 2014.

² Closely related to this aspect is the notion of the "collapse of witnessing" which was coined by the psychoanalytic psychiatrist Dori Laub in the chapter *An Event without a Witness: Truth, Testimony and Survival* published in the book *Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History*, which he co-authored with Shoshana Felman [Felman, Laub, 1992, p. 75-92]. On the one hand, the notion of the collapse of witnessing implies that only those who lost their lives can be considered true witnesses, witnesses who cannot speak about their traumatic experience. On the other hand, it also implies that due to specific psychological and emotional incapacity that trauma causes in survivors what they can produce is only a mere shadow of a credible testimony. "History is [therefore] taking place with no witness: it was also the very circumstance of being inside the event that made unthinkable the very notion that a witness could exist... The historical imperative to bear witness could essentially not be met during the actual occurrence [Laub, 1992, 84, cf. Caruth, 1995, p. 7]. The belatedness of testimony as a key reason for its incredibility is also discussed by Cathy Caruth in her *Introduction* to the anthology *Trauma. Explorations in Memory*, where she argues that the pathology of trauma stems precisely from the fact that "the event is not assimilated or experienced fully at the time, but only belatedly, in its repeated possession of the one who experiences it. To be traumatized is precisely to be

the object to representational activities of its consciousness only if it does not feel dependent of it; if it can observe it from the outside and not get drawn into the temporal stream of its creation” [Biti, 2000, p. 521]. Trauma constitutes the very opposite of this process, because the subject attempting to articulate it is forced to bring it into consciousness and re-experience it at the same time. During the act of witnessing, the subject is therefore once again *in* the traumatic experience. The influence trauma has over the subject who has experienced it is can also be observed in statements of witnesses during the lawsuit against Svetlana Alexievich which was filed by her interlocutors after she had published one part of the collected testimonies in the journal “Komsomolskaja pravda” (“Komsomol Justice”). For example, during his testimony during the lawsuit one witness-survivor points out the following:

Алексиевич полностью исказила мой рассказ, дописала то, что я не говорил, а если говорил, то понимал по-другому (emphasis by D. L.V., CM, 130).

Especially interesting and illustrative examples of the subject’s ontological and epistemological instability in testimonies of trauma are narrative mechanisms developed within the framework of “narrative fetishism” [Ушакин, 2009, с. 14]. Sergey Oushakin convincingly argues that witnesses attempting to describe their traumatic experience tend to use fixed, already existing modes of representations in the range of their narrative competence in order to compensate for their “expressionless” (the notion of the “expressionless” stems from the writing of W. Benjamin, ger. “das Ausdruckslose”). Alexievich’s interlocutors, especially those from *Zinky Boys*, often use different “automated, strictly predefined forms” [ibid., 14], the use of which is “independent from personal memory” [ibid.]. In this way, the witness not only testifies the unspeakability of trauma, but also his or her own inability to narrate painful experience. In this respect, trauma is

possessed by an image or event” [ibid.: 4; cf. LaCapra, 2001, 186]. Aleida Assmann points out that “survivors as witnesses do not, as a rule, add to our knowledge of factual history; their testimonies, in fact, have often proved inaccurate” [Assmann, 2006, p. 263]. In her journal, Svetlana Alexievich, who herself spent some time in Afghanistan during the war, writes as follows: “During the war, I reflected upon the impossibility of writing a book about the war” («Думала о невозможности писать книгу о войне на войне», CM: 11).

“not just the experience of physical loss but also the physical experience of one’s own symbolic incompetence or inability to tell the story about what happened” [ibid., 35]. In other words, “all attempts to memorialize trauma must inevitably face the problem of finding adequate discursive methods, regardless whether it is an attempt to translate loss into the language of the object (the praxis of ‘eternalizing’) or an emotional investment into certain symbolic structures (‘songs about pain’)” [ibid., 16].

It is hence not unusual that those text moments that are especially emotionally saturated are often intertwined with black humor, verses from Soviet mass songs, curses or proverbs etc. In all of these cases cultural clichés, historical patterns and semantically empty, stereotypical sayings function as a powerful medium for the representation of events that remain unimaginable. One veteran of the Soviet war in Afghanistan unexpectedly interrupts his narration of traumatic experience, in which tone and rhythm of narration change as his memories gradually approach their emotional peak, and decides that it would be “better to tell a joke instead”:

Человек меняется не на войне, человек меняется после войны. Меняется он, когда смотрит теми же глазами, которыми видел то, что было там, на то, что есть здесь. В первые месяцы зрение двойное – ты и там, и здесь. Ломка происходит здесь. Теперь я готов подумать, что со мной там происходило... Охранники в банках, телохранители у богатых бизнесменов, киллеры, – все это наши ребята. Встречал, разговаривал и понял: они не захотели возвращаться с войны... Сюда возвращаться... Там им понравилось больше. Оттуда... После той жизни... Остаются непередаваемые ощущения... Самое первое-презрение к смерти, что-то выше смерти... «Духи» не боялись смерти, они, к примеру, знали что их завтра расстреляют – смеялись, как ни в чем не бывало, разговаривали между собой. Даже, казалось были рады. Веселы и спокойны. Смерть – это великий переход, ее, как невесту, надо ждать. Так написано у них в Коране...

Лучше анекдот... А то застрашал писательницу. (*Смеется*)
(СМ, 49).

In addition to that, testimonies collected in *Zinky Boys* can be considered a true anthology of the Soviet mass song. There are two particularly illustrative examples of the way traumatic experience is translated into the cliché of Soviet/“Afghan” mass songs:

(...) На улицу редко выхожу... Стесняюсь...

Вы когда-нибудь пристегивали или видели вблизи наши протезы? На них ходишь и боишься шею сломать. Говорят, в других странах «протезники» на горных лыжах катаются, играют в теннис, танцуют. Купите их на валюту вместо французской косметики... Вместо кубинского сахара... Марокканских апельсинов и итальянской мебели...

Мне двадцать два года, вся жизнь впереди. Надо жену искать. Была девушка. Сказал ей: «Я тебя ненавижу», – чтобы она ушла. Жалела. Хочу, чтобы любила.

Снится мне ночами дом родной
И в рябинах тихая опушка.
Тридцать, девяносто, сто...
Что-то ты расщедрилась, кукушка...

з наших песен... Любимая... А иногда даже день
неохота прожить... (СМ, 69)

(...) Вспоминаются наши «афганские» песни. Спешешь на работу и вдруг начинаешь бормотать:

Скажи, зачем и для кого отдали жизнь они свою?
Зачем в атаку взвод пошел под пулеметную струю?

Оглядываешься – хотя бы никто не слышал! Решат – чокнутый или контуженный оттуда приехал. (*Поет*).

Афганистан – красивый, дикий, горный край.
Приказ простой: вставай, иди и умирай...

Вернулся и два года во сне хоронил себя... А то просыпаюсь в страхе: застрелиться нечем! (СМ, с. 100)

Testimonies are often interrupted by petrified phrases, such as in the case of the witness cursing Afghanistan (“Damn you, Afghanistan!” – «Будь ты проклят, Афганистан!»), or using abusive language and swearing: «Афган, твою мать!» (СМ, с. 106-107) or «Мать честная!» (СМ, с. 124). In all these examples stereotypical language serves as a foothold of memory, i. e. as structures of transmission of memory in the aftermath of catastrophe. The language of trauma hence conveys an impression of a cliché or a prosthetic device, and it could be described as textual mimesis of trauma through pre-established tropes. In this context both verses from mass songs as well as the aforementioned phrases “burst” out spontaneously, without conscious control of the speaking subject (as mentioned before, they are the ones articulating the subject and not the other way around). Apart from the fact that it suggests the fragility inherent to the process of mediating traumatic experience, the unwillingness of these speech acts also illustrates that testimonies tend to assume the form of a performative speech act.¹

3. The Object of Testimony as the Subject of Traumatic Experience

In her study *The Juridicial Unconscious: Trials and Traumas in the Twentieth Century*, Shoshana Felman writes about the incident during the Eichmann trial in 1961, when one of the witnesses fainted. The witness under the pseudonym K-Zetnik, who was called to testify because he had personally met Eichmann in Auschwitz, fainted before he was given a

¹ The performativeness of testimony has also been discussed, among others, by Shoshana Felman and Dori Laub. On this issue, Felman argues: “What the testimony does not offer is, however, a completed statement, a totalizable account of those events. In the testimony, language is in process and in trial, it does not possess itself as a conclusion, as the constatation of a verdict or the self-transparency of knowledge. Testimony is, in other words, a *practice*, as opposed to a pure *theory*. To testify – to *vow to tell*, to *promise* and *produce* one's own speech as material evidence for truth – is to accomplish a *speech act*, rather than to simply formulate a statement“ [Felman, 1992, p. 5].

chance to testify. According to Felman, the guilt for this incident lies in the listening party of the judicial process, i.e. the judge: "Out of the witness stand falls, in my vision, not a 'disappointed witness', but a terrified one. The witness is not 'deeply wounded', but *re-traumatized*. The trial reenacts the trauma" [Felman, 2002, p. 146]. The American literary critic also points out that:

When the judge admonishes Dinoor from the authoritarian position of the bench, coercing him into a legal mode of discourse and demanding his cooperation as a witness, K-Zetnik undergoes severe traumatic shock in reexperiencing the same terror and panic that dumbfounded him each time when, as an inmate, he was he was suddenly confronted with the inexorable Nazi authorities of Auschwitz. [...] the imposition of a heartless and unbending rule of order violently robs him of his words and, in reducing him to silence, once more threatens to annihilate him, to erase his essence as a *human* witness. Panicked, K-Zetnik loses consciousness [ibid.].

Although Felman's analysis of this incident is interesting also in regards of the ways body testify trauma beyond cognitive reasoning, in further development of my key arguments I will focus on the abovementioned example because it leads me to the next level in the destabilization of the subject-object relationship in the genre of testimonial literature. Testimony does not exist in a socio-cultural vacuum or outside the (autobiographical) contract between the speaker and listener. Testimony is never a monologue: it always presupposes an interlocutor and must therefore be interpreted as a speech act which is in essence a dialogue such as described by Bakhtin [Бахтин, 1979, 237–280]. In this context, the narrative frames of testimony are not defined only by the system of social conventions, but also by the listener of the words spoken. In the testimonies collected by Svetlana Alexievich her interlocutors often emphasize not just the importance of the Other, but also the importance of its active role as the recipient of the message, whereby the example analyzed by S. Felman clearly shows that the outcome of a testimony is inherently related to the reaction of its listener. Very often it is precisely the explicit and immediate

act of addressing the testimony to the listener which defines its content, composition and stylistic features:

Ты спрашиваешь, что на войне самое страшное? Ждешь от меня... Я знаю, чего ты ждешь... Думаешь: я отвечу: самое страшное на войне – смерть. Умереть. Ну, так? Знаю я вашего брата... Журналистские штучки... Ха-ха-а-а... Почему не смеешься? А? А я другое скажу... Самое страшное для меня на войне – носить мужские трусы. Вот это было страшно. И это мне как-то... Я не выражусь... Ну, во-первых, очень некрасиво... Ты на войне, собираешься умереть за Родину, а на тебе мужские трусы. В общем, ты выглядишь смешно. Нелепо. Мужские трусы тогда носили длинные. Широкие. Шили из сатина. Десять девочек в нашей землянке, и все они в мужских трусах. О, Боже мой! Зимой и летом. Четыре года.

Перешли советскую границу... Добивали, как говорил на политзанятиях наш комиссар, зверя в его собственной берлоге. Возле первой польской деревни нас переодели, выдали новое обмундирование и... И! И! И! Привезли в первый раз женские трусы и бюстгалтеры. За всю войну в первый раз. Ха-а-а... Ну, понятно... Мы увидели нормальное женское белье... Почему не смеешься? Плачешь... Ну, почему?

Лола Ахметова, рядовая, стрелок (U voiny, 53).

Numerous witnesses also point out that silence was often a consequence of a passive and an inadequate reaction of the message's recipient, which caused a deepening and prolonging of the war trauma:

Мы столько лет молчали, даже дома молчали. (...) Первый год, когда я вернулась с войны, я говорила – говорила. Никто не слушал. И я замолчала (*U voiny*, 30).

Through the aspect of its pronouncedly appellative nature the processuality of literature analyzed in the previous chapter acquires a new dimension. While C. Caruth states that “the history of trauma [...] can only take place through the listening of another” [Caruth, 1995, p. 11] and that it

is a kind of knowledge “intricately bound up with the act of listening itself”, Dori Laub points out that:

Bearing witness to a trauma is, in fact, a process that includes the listener. For the testimonial process to take place, there needs to be a bonding, the intimate and total presence of an *other* – in the position of one who hears. Testimonies are not monologues; they cannot take place in solitude. The witnesses are talking to *somebody*: to somebody they have been waiting for a long time [Laub, 1992, p. 71].

However, unlike other autobiographical genres, in which the Other functions as the implied reader and/or the Other of the author,¹ in the genre of testimonial literature the listener and the reader are much more drawn into the “temporal current” of creating a testimonial statement. The recipient not only defines his or her horizon of expectations, thereby modeling the testimonial statement in accordance with his or her own expectations, but also allows him- or herself to become the object onto which emotions connected to the traumatic experience are transferred. *The object (listener or reader) therefore also becomes the subject of the traumatic experience* [cf. Felman, 1992, p. 47-55]. This claim can be supported by numerous excerpts from *Zinky Boys*. S. Alexievich, namely, also quotes a part of her journal written in 1986 in which she says that the act of listening transposes the listener from a passive, emotionally unattached position of the object into an emotionally attached position of the *subject* re-experiencing the same trauma:

Когда закончила «У войны не женское лицо» долго не могла видеть как от обыкновенного ушиба из носа ребенка идет кровь, убегала на отдыхе от рыбаков, весело бросавших на береговой песок выхваченную из далеких глубин рыбу, меня тошнило от ее застывших, выпученных глаз. У каждого есть

¹ Up to a certain extent, the notion of dialogue is present in all autobiographical genres because the subject’s discourse, which is at the same time the theme and the object of an autobiography, by its very nature cannot be a monologue. According to Andrea Zlatar, “the space of a polyphonic discourse is opened even within an only seemingly “one-sided” soliloquy. Even when we are talking to ourselves, there are *more of us* talking, conversing and dissolving ourselves” [Zlatar, 2004, p. 27].

свой запас защиты от боли – физический и психологический, мой был исчерпан до конца. Меня сводил с ума вой подбитой машиной кошки, отворачивала лицо от раздавленного дождевого червяка (СМ, с. 6).

In the foreword to the English edition of her book *War's Unwomanly Face*, S. Alexievich, who lost 11 members her family in World War II, says:

My own “war” also lasted four years, and I was often shattered by what I heard. To tell you the truth, at times I felt I couldn't endure it any longer. Many a time I wished to forget what I had heard. I wished it but no longer could. All this time I kept a diary which I have also ventured to include in my book. It records my feelings and experiences, and also the geography of my search, which covered more than a hundred towns and cities, settlements and villages in various parts of the country. I was for a long time in doubt whether I had the right to use the words “I feel”, “I am anxious” and “I doubt” in my book. What are my feelings and torments compared with their feelings and torments? Will anybody be interested in a diary concerned with my emotions? But the more material accumulated in my files the more confident I became that a document was fully valid only when its author had made his or her presence felt along with its contents. There are no dispassionate testimonies: each conveys a patent or hidden passion that the author experienced. And many years later that very passion will also serve as a document [Alexievich, 3].

The close connection between the speaker and the listener is also confirmed by the reaction of the public to the publication of *Zinky Boys*. In a series of law suits which were filed against the Belarusian author, she was accused of making “a whole generation of Afghanistan soldiers appear immoral” («лишила моральной жизни все наше афганское поколение», СМ, с. 149) and making honorable children appear like murderers : “You made our children look like murderers. You wrote this terrible book...” («Это вы сделали наших детей убийцами. Это вы написали эту страшную книгу...», СМ, с. 141). This partly unexpected public reaction and negative perception of testimonies by the witnesses themselves inadvertently corroborate my thesis that the listener, i.e. object of testimony

has been experienced as speaker, i.e. as the real subject of the collected testimonies.

4. Testimonial Literature – Autobiography or Autothanatography?

If we move argumentative line of this paper one step further, several key arguments will speak in favor of my final thesis that a more appropriate term to designate testimonial literature would be “autothanatographic”¹ instead of autobiographic. Namely, testimonies collected by S. Alexievich are structured around survivors’ attempts to negotiate “unknowable” experiences in their writings, where death and the Other often feature “as the ‘unknowns’ that bring about or fuel the autobiographical act” (Bainbrigge, 2005, p. 361). As they often represent descriptions of near-death states, one could pose the question “To what extent does a focus on *thanatos*, rather than *bios* in autobiography, highlight the particular challenges of writing about the self?” (ibid., p. 359). To be more exact, as Svetlana Alexievich claims in her introduction to the book *The War’s Unwomanly Face*, in the process of testimony there are more than two participants (the speaker, i.e. subject and listener, i.e. object, whose roles my analysis of this hybrid genre has shown to be instable and often switching places). According to Alexievich, the true number of participants in a testimonial process amounts to three: the witness bearing

¹ The relationship between autobiography and death was point of departure for G. T. Thomas in his 1978 essay *The Shape of Death in American Autobiography*. Philosopher J. Derrida in his 1984 book *Otobiographies: L’enseignement De Nietzsche Et La Politique Du Nom Propre*, that was translated in English in 1985 (*The Ear of the Other: Otobiography, Transference, Translation*), as well as L. Marin in his books *La Voix excommuniée. Essais de mémoire* (1981) and *L’Écriture de soi* (1999) wrote extensively about the possible applications of a term autothanatography (see Bainbrigge, 2005). In 1994. N. K. Miller wrote that „every autobiography (...) is also an autothanatography“ (Miller, 1994, 12). My use of this term was highly motivated by the usage of it in E. S. Burt’s book *Regard for the Other: Autothanatography in Rousseau, De Quincey, Baudelaire, and Wilde* in 2009.

the testimony; the person from the war whom the witness is trying to remember and the listener. War veterans namely:

всегда в ином пространстве, чем слушатель. Их окружает невидимый мир. По меньшей мере три человека участвуют в разговоре: тот, кто рассказывает сейчас, этот же человек, каким он был тогда, в момент события – и я (*U voiny*, 7).

The idea about a division within one's self appears in different forms throughout the majority of testimonial narratives by Svetlana Alexievich's interlocutors. A series of witnesses who wish to speak about the trauma of witnessing the death of numerous war comrades and enemies also witnessed the experience of a physical and psychological death of their own "self" as the pre-war Other of the post-war speaker. One of the witnesses thus wrote a letter to Alexievich, in which she wrote: "No matter what our date of birth was, we were all born in 1941" [Alexievich, 2]. Although these witnesses are not recorded in the number of people who were killed or went missing during these two wars, they often emphasize that the person they had been before the war no longer exists and was replaced by someone else, someone alien to their own pre-war selves. In so doing they also testify the unspeakability of trauma because trauma in that regard can be defined as witnessing one's own death. One might argue that survivors are actually bearing witness to their own death, and in that respect, testimonial literature offers an outlet for representation of how death and writing the self are sometimes closely interlaced. If we understand testimony as speaking about (unspeakable) violence and loss of civil rights, then at the same time trauma means speaking about the "absence of the 'I'".¹

Вы думаете, что мы жестокие? А догадываетесь ли, какие жестокие вы? Нас не спрашивают и не слушают. Но о нас пишут...

¹ For example, female witnesses have often spoken about the loss of their own femininity that triggered feelings of their own death. For them the end of the war meant either an absolute retreat into the world of their memories and attempts to restore their "female I" back to life or the experience of the post-war reality as an entirely new beginning, a new life which they started as completely new people.

Имени моего не называйте... Считайте, что меня уже нет... (СМ, с. 119).

Could the language of trauma therefore be described as the language of one's own death? Since it operates as record of the death of its subject, should testimonial literature fall into a genre-transcending category of *autothanatography* instead of *autobiography*?

LITERATURE¹

Alexievich, S. *The War's Unwomanly Face*.
<http://www.alexievich.info/knigi/TheWarEn.pdf>. 5th May 2014.

Alexievich, S. *Zinky Boys. Soviet Voices from the Afganistan War*. – New York, London: W. W. Norton & Company, 1992.

Assmann, A. „History, Memory, and the Genre of Testimony“. – *Poetics Today* 27: 2, 2006. – Pp. 261-273.

Bainbrigg, S. „Introduction“. – *Forum of Modern Languages*, 41 (4), 2005. – Pp. 359-364.

Biti, V. *Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije*. – Zagreb: Matica hrvatska, 2000.

Butler, J. *Bodies that Matter: on the Discursive Limits of 'Sex'*. – New York, London: Routledge, 1993.

Burt, E.S. *Regard for the Other: Autothanatography in Rousseau, De Quincey, Baudelaire, and Wilde*. – Fortham University Press, 2009.

Caruth, C. *Introduction* / Caruth, C. (ed.). // *Trauma. Explorations in Memory*. – Baltimore and London: The Johns Hopkins University, 1995. Pp. 151-157.

Caruth, C. *Unclaimed Experience. Trauma, Narrative, and History*. – Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1996.

Felman, Sh.; Laub, D. *Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History*. – New York and London: Routledge, 1992.

Felman, Sh. *The Juridicial Unconscious. Trials and Traumas in the Twentieth Century*. – Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 2002.

LaCapra, D. *Writing History, Writing Trauma*. – Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 2001.

¹ Список литературы публикуется в авторской редакции.

Lejeune, Ph. *On Autobiography*. – Minneapolis: University of Minnesota, 1989. <http://english4321.files.wordpress.com/2010/08/philippe-lejeune-the-autobiographical-contract.pdf>

Miller, N. K. „Representing Others: Gender and the Subjects of Autobiography“. – *differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*, 6, 1, Spring 1994. – Pp. 1-27.

Wilkinson, J. „Izbor fikcija: povjesničari, sjećanja i dokazi“ (transl. by M. Gregov). – *Gordogan*, 18-19, no. 43-44, 1997/1998. – Pp. 95-112.

Zlatar, A. *Tekst, tijelo, trauma. Ogledi o suvremenoj ženskoj književnosti*. Zagreb: Naklada Ljevak, 2004.

Алексиевич, С. *У войны не женское лицо*. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.alexievich.info/booksRu.html#1>, 1985. (дата обращения 21. 2. 2014).

Алексиевич, С. *Цинковые мальчики*. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.alexievich.info/knigi/ZinkovyeRus.pdf>, 1991. (дата обращения 21. 2. 2014).

Бахтин, М. *Эстетика словесного творчества*. – Москва: Искусство, 1979.

Вайл, П. «Правда – женского рода» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rg.ru/2008/05/30/pravda.html>, 2008. (дата обращения 28. 4. 2014).

Лекманов, О. «Опыт быстрого чтения. 'Стихи о неизвестном солдате' Осипа Мандельштама». – *Новый мир*. – 8. – 2013.

Ушакин, С. *Нам этой болью дышать? О травме, памяти и сообществах*. / Ушакин, С.; Трубина, Е. (ред.). *Травма: Пункты. Сборник статей*. – Москва: Новое литературное обозрение, 2008. – С. 5-41.

НАУКА В ЛИЦАХ

АГНЕШ ДУККОН¹

*Будапешт, Университет им. Лоранда Этвеша
Институт Славянской и Балтийской Филологии*

**ИСТОРИЯ РУССКОГО ВОСПИТАНИЯ – В ВЕНГЕРСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ²**

Автор статьи знакомит читателя с монографией венгерского филолога и историка педагогики – Миклоша Сабо (1912-2011) «История русского воспитания (988-1917)» [*Az orosz nevelés története (988-1917)*], вышедшей на венгерском языке в Будапеште в 2003 году. Книга должна была появиться на шестьдесят лет раньше, в начале 1950-х годов, но из-за идеологических и политических перипетий издание сорвалось: автор отказался от марксистской интерпретации своего предмета, не согласившись написать историю русской педагогики в определенном идеологическом освещении, как от него требовали. Марксистская точка зрения была обязательна почти до 1990-х годов, и автор из-за своего независимого и критического мышления не принадлежал к числу официально поощренных ученых. Лишь в конце 1990-х гг. появилась возможность издать книгу престарелого, но все еще духовно активного автора. Огромный труд (518 страниц), состоящий из 24 глав, обнимает приблизительно тысячелетний период русской культуры от эпохи Владимира Святого до педагогической деятельности Н.К. Крупской и большевистских

¹ Агнеш Дуккон (венг. Dukkon Bgnes) – доктор филологических наук (по русской литературе), доктор Венгерской Академии Наук (по венгерской литературе ренессанса и барокко); член Комитета Культурологии при ВАН; председатель Компаративистского Комитета Общества Современной Филологии. Место работы: Институт Славянской и Балтийской Филологии, Кафедра Русского Языка и Литературы университета им. Лоранда Этвеша (ELTE) (г. Будапешт).

² Szabó Miklós: *Az orosz nevelés története (988-1917)*. Akadémiai Kiadó Budapest – Pro Print Kiadó, Csíkszereda, Romania, 2003. [Миклош Сабо: История русского воспитания (988-1917). Издательство Венгерской Академии Наук, Будапешт – Издательство Про-Принт (Чиксеред, Румыния), 2003.]

начинаний в области воспитания. Особенность книги в ее надвременности: отказ автора от идеологии и верность собственным моральным принципам открыли ему свободу в исследовании, ведя в область вечных истин. Хотя весь этот материал пока замкнут в рамках венгерского языка – но и в этом случае можем утешать себя крылатым выражением: *habent sua fata libelli*¹.

Ключевые слова: духовное развитие, история педагогики, культура, Миклош Сабо, образование.

ÁGNES DUKKON

*(Budapest, Eötvös Loránd University
Institute for Slavic and Baltic Philology)*

RUSSIAN HISTORY OF EDUCATION – A HUNGARIAN READING

The article writer introduces to the reader a monograph of a Hungarian philologist and historian of pedagogy, Miklos Szabo (1912-2011) “The history of Russian education (988-1917)” [*Az orosz nevelés története (988-1917)*] published in Hungarian in Budapest in 2003. The book was to appear sixty years before, in the early 1950s, but because of the ideological and political vicissitudes, the publication failed: the author abandoned his Marxist interpretation of the book subject, not agreeing to write the history of Russian pedagogy in a certain ideological light, as was required of him. The Marxist point of view was obligatory almost to the 1990s, and the book author, Miklos Szabo, due to his independent and critical thinking did not belong to officially encouraged scholars. Only in late 1990s did the writer obtain an opportunity to publish his book, though by the time he was advanced in years, but still spiritually active. A huge volume of 518 pages, containing 24 chapters, embraces nearly a thousand-year period of Russian culture dating to the era of Saint Vladimir to Nadezhda Krupskaya’s pedagogical activity and Bolshevik initiatives in the field of education. The book is special – it’s timeless: the author’s refusal from ideology and loyalty to his own moral principles opened to him freedom in his studies, taking him to eternal truths. Although all this data is

¹ Книги имеют свою судьбу (лат.).

still enclosed in the Hungarian language, but even in this case we can console ourselves with a Latin saying: habent sua fata libelli.

Keywords: spiritual development, history of pedagogy, culture, Miklos Szabo, education

Предметом настоящей статьи является разбор книги венгерского автора Миклоша Сабо (1912-2011)¹ об истории русской педагогики.

¹ Миклош Сабо получил диплом по венгерской и немецкой филологии и затем по французскому языку в Будапештском Университете в середине 1930-х гг. В 1936 он защитил докторскую диссертацию по венгерской литературе. Несколько лет преподавал немецкий и венгерский языки и литературу в средней школе. Свою первую «разговорную практику» он приобрел на русских фронтах Второй Мировой Войны. После войны, начав заниматься историей русского воспитания, будучи государственным стипендиантом, по инициативе профессора педагогики Лайоша Прохаски стажировался в Советском Союзе (1946-1948 гг.). Продолжил обучение в аспирантуре сначала в Москве, потом в Ленинграде, собирая материал в библиотеках для завершения начатой монографии.

В Ленинграде он работал над своей темой под руководством профессора Ш.И. Ганелина в Педагогическом институте им. Герцена (Первые две главы диссертации написаны на русском языке). В 1948 г. Сабо вернулся в Венгрию, чтобы опубликовать уже готовую книгу на венгерском языке. Но рукопись оставалась неизданной больше полувека, потому что автор отказался от марксистской интерпретации своего предмета, не согласившись написать историю русской педагогики в определенном идеологическом освещении, как от него требовали.¹

С 1950-х гг. Миклош Сабо преподавал русский язык в различных институтах. В 1957 г. его лишили возможности преподавать – из-за сочувствия революции 1956. Далее до своего ухода на пенсию он работал как лексикограф в редколлегиях различных издательств, готовя к публикации словари и лексиконы (в том числе в Издательстве Венгерской Академии Наук), написал замечательные учебники русского языка (и автор настоящей статьи в средней школе училась по его учебнику), опубликовал статьи и хрестоматии по теории и истории педагогики. Среди них стоит упомянуть книгу о Л.Н. Толстом как педагоге (1987) и монографию о К. Ушинском (1999), которые получили высокую оценку специалистов и стали важными пособиями для курсов по педагогики в Венгрии.

Мы считаем нашим долгом познакомить русскую публику – в первую очередь специалистов по воспитанию и образованию – с этим огромным и ценным трудом.

Автор книги рассматривает длинный путь русской культуры – в контексте европейского образования. В книге создается целостная картина русского педагогического мышления, формирования школьной системы в интерпретации глубокого и оригинально мыслящего специалиста, оценивающего русскую педагогику с точки зрения другой (венгерской) культуры. Анализ воспитательных процессов на широком культурно-историческом фоне. Автор, помимо узко специальных исследований (труды русских специалистов дореволюционного времени – М. Сухомлинского, В. Иконникова, С. Рождественского, М. Демкова, Н. Сербова, П. Каптерева, и советского периода – Е. Медынского, Ш. Ганелина, Э. Днепров), включает в свой анализ литературные, исторические, богословские и художественные материалы: воспитание и образование для него существует во взаимосвязи упомянутых отраслей культуры. Сам анализ базируется на методологии сравнительной педагогики и филологии.

Настоящая книга (ее истоки которой следует искать в начале 1940-х гг.) в буквальном смысле развивалась и созревала в течение полувека: автор считал отложить ее публикацию до лучших времен, чем лгать и исказить истину ради идеологии. И только в самом конце 1990-х гг. появилась возможность опубликовать рукопись. В 2003, когда автору исполнился 91 год, появилась «История русского воспитания» в совместном издании Венгерской Академии Наук и Издательства Про-Принт (Чиксереда, Румыния). После этого он до последних дней долгой жизни (январь 2011 г.) работал над продолжением книги (собирался охватить и советский период). Зная его лично, мы можем сказать, что Настоящая ценность его труда – личностная, духовная цельность помогала ему остаться верным своим убеждениям даже ценой отказа от научной карьеры, если она не была согласна с научной совестью.

Книга Миклоша Сабо написана на венгерском языке, для венгерского читателя. Она пока доступна сравнительно узкому кругу специалистов, но ее уникальное содержание достойно внимания международной общественности. А для русских исследователей был бы интересен «венгерский взгляд» на русскую культуру и на историю



отечественного воспитания. Во введении к монографии венгерский историк, Ласло В. Молнар справедливо подчеркивает: такая серьезная разработка универсально интересного вопроса появилась на мало доступном в мире науки языке, перевод которой хотя бы на английский, французский, немецкий языки мог представлять научный интерес.

Отвечая на вопрос «Почему интересно русское воспитание для венгерской публики?» Миклош Сабо в предисловии к книге обозначает три аспекта. Во-первых, информационный, просветительский, ведь мы очень мало знаем об этом предмете. Во-вторых, историко-культурный: важно узнать, как страна византийской культуры на протяжении столетий взаимодействовала с Западом в решении важных проблем обучения и воспитания. В-третьих, научно-педагогический: как, несмотря на тяжелые исторические обстоятельства, на религиозную изоляцию от Европы, было создано универсальное гуманистическое педагогическое поведение на основе православия. Мы можем добавить, хотя книга написана чистым и точным научным языком, но она не скучна: широкая образованность и глубокое мышление автора позволяет осветить голые факты в общекультурных взаимоотношениях.

Книга, состоящая из 24 глав, обнимает приблизительно тысячелетний период русской культуры от эпохи Владимира Святого до педагогической деятельности Н.К. Крупской и большевистских начинаний в области воспитания. В основе отдельных глав – принцип концентрических кругов: сначала дается широкая культурно-историческая основа данного периода, вырисовываются политические связи, философические течения и общие положения искусства, потом, во внутренних кругах, – конкретные описания и данные о положении образования и школьного дела. В конце каждой главы автор указывает на те моменты в истории воспитания, которые встроились в теорию или практику следующего периода (значит, скрывали в себе продуктивные элементы для дальнейшего развития). Таким образом, формирование русского воспитания рассматривается в двойной перспективе: с высоты птичьего полета, симультанно с европейскими явлениями, а потом «с земли», в сложном противоборстве сил, которые определяли победы и неудачи.

Первая глава обосновывает с культурно-исторической точки зрения тему следующих (II-III-IV), т.н. «древнерусских глав»:

рассматривается роль Византии в раннем периоде русской истории, такие факты, как принятие христианства, появление монашества, возникновение церковной и светской литературы, отход от Запада. Во второй и третьей главах прослеживаются культурные явления средневековья: в древней Руси формируется церковное и светское образование, расцвет которого случился при Ярославе Мудром (английские, датские, шведские, норвежские и венгерские князи, в том числе Эндре и Левентэ, приезжали сюда получить высшее образование). Постепенное распространение письменности идет параллельно с построением церквей (именно церковь выдвигает требования обучения). Автор книги указывает на христианские основы первых идеалов русского воспитания, ибо языческие верования не содержали воспитательных целей. Новая религия принесла коренные изменения в отношении человека к высшим силам: откровение и спасение для каждого отдельного человека открыли новые перспективы внутренней жизни. Обращение к душе человека оказалось совершенно новым моментом: христианство на русской земле с самого начала говорило о целостности жизни, обращалось к сердцу, а не к уму. Поэтому и отсутствие письменности не было препятствием в христианизации: фрески и мозаики церквей и устное распространение «доброй вести» («Евангелия») в духовных стихах, служили воспитанию человека – для земной и вечной жизни. Миклош Сабо в этом усматривает коренную разницу между созерцательным Востоком и рациональным, деятельным Западом. Конечно, такое размежевание западной и восточной ментальности понимается обобщенно, суммарно, указывается лишь на главные тенденции духовного развития, но при этом нет схематизации, механичности. Во «внутреннем круге» второй главы автор говорит о педагогическом содержании ранних переводов византийских сборников (Изборник Святослава, 1073, Пчела, Златая цепь, Златоструй), о «Поучении» Владимира Мономаха (1117) и о проблемах обучения XII-XIII веков.

В третьей главе содержится обзор периода татарского нашествия (упадок культуры и ее медленное возрождение в XIV-XV вв.). Новые возможности образования при лаврах и монастырях, а также связь с афонскими и константинопольскими монахами способствовали развитию духовной жизни (рассматриваются такие моменты, как роль Новгорода и Пскова, составление летописей,



усиление влияния иностранных литератур, познание византийской светской литературы и науки западного средневековья и т.д.). Но автор отмечает и «темную» сторону образования этого периода: полная оставленность широких масс народа высшими церковными и светскими властями, низкий культурный уровень провинциального духовенства, отсутствие мотивации к обучению. Эта проблема – *mutatis mutandis* – повторяется и в следующих столетиях: периоды интенсивного развития культуры чередуются с такими, где господствует обскурантизм (см. последекабристский период), провозглашается ненужность образования низших слоев общества и для крепостных.

В последующих главах (IV–X) продолжается разбор педагогических идей в контексте истории: автор анализирует самые важные события и идеи в области культуры и образования (напр., в XVI в. – стремление к обновлению церкви, обострение оппозиции византийского и западного духа, *Домострой* как педагогическая энциклопедия века; новые веяния в Киеве, Киево-Могилянская Академия, польское влияние, появление иезуитов; XVII в. и начало новой эпохи, церковь и государство, роль Е. Славинецкого и Симеона Полоцкого в организации школ, Славяно-греко-латинская Академия в Москве, появление педагогической литературы). XVIII век получает в книге четыре главы: в VII и VIII главах представлена эпоха Петра Первого (общественные реформы, организация школ и научной жизни, дворянское воспитание, основание университета и Академии Наук, школы для народа, церковь и ее школы, деятельность Феофана Прокоповича и В.Н. Татищева). IX глава посвящается М.В. Ломоносову и его значению в русской педагогике. Автор оценивает важные этапы европеизации в русской культуре, говорит о роли латинского языка в этом процессе, о значении Московского Университета в духовном обновлении. В X главе развернута картина эпохи Екатерины II, когда просвещение в Российской Империи провоцировало значительные изменения в институтах образования (появились различные планы воспитания, возрос интерес к методике, практическому воспитанию и подготовке преподавателей для гимназий). Анализ деятельности Новикова, Сковороды и Радищева завершает главы.

Подробное изложение всех глав книги Сабо невозможно в рамках одной статьи, мы постараемся выбирать из богатого материала

самые важные темы и указать на ключевые узлы проблем в истории русского воспитания.

Этапам развития культуры и образования в XIX веке посвящаются 14 глав книги. Такая пропорция материала является вполне обоснованной, так как именно в этом столетии совершается огромный подъем Российской Империи, она становится серьезным политическим соперником европейской власти. Но жестокость, амбивалентность политических, общественных и культурных процессов провоцировали острую критику интеллигенции, что отражалось и в педагогике. Миклош Сабо и в этих главах остается верным своему методу излагать тему по концентрическим кругам: он анализирует конкретные явления, исходя из общих тенденций времени. Так, разворачиваются перед читателем первые десятилетия века, планы организовать общее образование (положительные стремления Александра I, деятельность Сперанского, «безвременье» после декабристского восстания). Период между 1825-1855 (XII глава) вырисовывается как пестрая картина: автор подробно пишет об *Уставе гимназий и училищ, состоящих в ведении университетов* (1828), о диктатуре в воспитании (обскурантизм), о реорганизации университета, но и о постепенной демократизации среднего образования (организация училищ и всяких практических учебных заведений). Но и для этого периода характерна двойственность: положительные (как, напр., обновление монашества, влияние Паисия Величковского на духовную жизнь XIX в., появление *Добротолюбия*) и отрицательные моменты (насилованная русификация в империи, преследование иноверцев – католиков, униатов, староверцев, государственный контроль над церковными делами, в том числе и над образованием, и т.д.). Далее автор рисует пять портретов лучших представителей интеллектуальной жизни, педагогические идеи актуальны до сих пор не только для профессии, но и для всей культуры (В.Ф. Одоевский, П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев). В их педагогических идеалах, теориях и практических деяниях Сабо открывает новизну. Интересно читать о дидактических трудах Одоевского (*Таблица складов*, 1839, *Наука до науки*), вспоминая его замечательные фантастические рассказы (*Русские ночи*, *Импровизатор*, *Сильфида*, и т.д.). Много важных проблем затрагивает глава, в которой освещены педагогические интересы Белинского в

контексте профессиональных и историко-культурных фактов. Миклош Сабо подчеркивает, как тесно связаны у Белинского утонченное и страстное понимание личности¹ с вопросами воспитания: педагогические мысли пронизывают его критические статьи, письма и рецензии о детских книгах (60) и рецензии на учебники (70). Подтверждением того, что воспитание женщин интересовало Белинского, являются и упоминания Жорж Санд и ее влияние на женские умы. В переписке с будущей женой по поводу лермонтовского *Демона* критик говорит об отношениях мужчины и женщины, о важности интеллектуальной развитии женщин и т.д. Но и критический разбор *Онегина* (8 и 9 статьи) содержит немало отступлений по поводу воспитания, когда Белинский говорит о статусе русской женщины как невесты.²

Взгляды Герцена и Огарева на воспитание связаны с их общественно-моральными убеждениями. Миклош Сабо «собирает» герценовские педагогические мысли из художественных произведений и публицистических работ (*«Кто виноват?»*, *«Опыт бесед с молодыми людьми»*, *«Разговоры с детьми»*) и из писем к собственным детям. Герцен смотрит критически на проблемы воспитания своего времени, и, исходя из отрицательных примеров, развивает свои теории, основанные на представлениях о школе будущего.

XIII глава посвящается «педагогической весне» (т.е. десятилетию с 1855 по 1866), когда осуществились общественные

¹ Об истолковании Белинским человеческой личности см. Агнеш Дуккон: На перекрестке жанров: атрибуты исповеди и дневника в эпистолярности Белинского. In: *Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe*. Studia Rosica XX. T. I. / Red. naukowa Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Ludmiła Łucewicz. Warszawa, 2010. 25-33.

² «В Европе женщина действительно царица общества: весел и горд мужчина, с которым она больше говорит, чем с другими. У нас наоборот: у нас женщина ждет, как милости, чтоб мужчина заговорил с нею; [...] ...у нас не понимают и не хотят понимать, что такое женщина, не чувствуют в ней никакой потребности, не желают и не ищут ее, оттого, что у нас нет женщины. [...] Русская девушка – не женщина в европейском смысле этого слова, не человек: она не что другое, как *невеста*.» [В.Г. Белинский: Сочинения Александра Пушкина. Статья девятая «Евгений Онегин». В кн.: Собрание сочинений в трех томах. Т. III, Москва, 1948. С. 537-538].

реформы (освобождение крестьян в 1861) и развертывалась деятельность таких личностей (ученых, публицистов, писателей), как Н.И. Пирогов, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев. Портрет Пирогова содержит ценные сведения о борьбе за обновление воспитания. Миклош Сабо подробно разбирает две важные статьи Пирогова (*Вопросы жизни*, 1856, *Быть и казаться*, 1858), появление которых вызвало огромный интерес и дало толчок для творческой инициативы в области обучения и воспитания (напр., организация воскресных школ, филантропические педагогические начинания, школы на добровольных началах и т.д.). Помимо практического, автор книги подчеркивает теоретическое значение пироговских статей: все то, что Пирогов пишет о моральном воспитании, о развитии «внутреннего человека» при помощи более свободной и гуманной концепции образования и воспитания, является до сих пор актуальным.

Важно упоминать в этой главе еще и о вопросе воспитания женщин: «педагогическая весна» и в этой области принесла «оттепель». Именно под влиянием Пирогова начиналась организация средних школ для девушек («Мариинское училище» под руководством Н.А. Вишнеградского в Петербурге в 1858 г., переорганизация Смольного Института в 1859 г. под руководством Ушинского).

Педагогические теории революционных демократов – Чернышевского, Добролюбова и Писарева – продолжают линию Белинского и Герцена: в публицистике и художественной литературе (в романе «*Что делать?*» Чернышевского) поставлены злободневные вопросы воспитания, отрицательные явления предстают в остро сатирическом изображении, обрисованы идеалы будущего в утопических сценах швейных мастерских и сновидений Веры Павловны. Без таких идеалов и мечтаний на реальной почве невозможно совершить подвиги, осуществить нужные реформы. Как показывает деятельность Пирогова, нужно иметь сначала такой высокий идеал о человечности, во имя которого препятствия «гнусной расейской действительности» (слова Белинского) и инерция масс могут быть побеждены. Однако эта роль почти всегда неблагодарная, как доказывают множество примеров из истории человечества

XV и XVI главы книги мы можем назвать «монографическими»: в них рисуются портреты К.Д. Ушинского и

Л.Н. Толстого – двух определяющих личностей в истории русского воспитания. Миклош Сабо и в этих главах уделяет большое внимание теоретической и моральной основе педагогической практики обоих деятелей (напр., он подчеркивает значение психологических исканий Ушинского – еще до рождения науки детской психологии)¹.

Глава о Толстом интересна тем, что мы имеем возможность увидеть великого писателя со стороны педагогики: как создавались его идеи о цели и смысле воспитания, как он вел полемику с Чернышевским по поводу разграничения воспитания и образования (статья *Воспитание и образование*, 1862), как оттеняли его философические убеждения взгляды на воспитание и т.д. Подробно анализируются его полемические статьи (*О народном образовании*, 1874), книги *Азбука*, дидактическая глава к этой книге *Общие замечания для учителя* и *Новая Азбука*.²

Говоря об отношении педагогики и литературы, было бы интересно включить сюда маленькую главу о Достоевском³.

В следующих главах монографии говорится о педагогических реформах и о противодействии им со стороны власти, о положении различных типов школ, о результатах в области высшего образования. Автор знакомит читателя со знаменитыми педагогами последних десятилетий XIX в. (напр., Н.А. Корф, Н.Ф. Бунаков, С.А. Рачинский, Д.И. Тихомиров). В профиле эпохи вырисовываются общественный кризис, рабочее движение и деятельность В.И. Ленина, школьная программа марксистов, революция в 1905 и участие студентов и преподавателей в революционных событиях.

¹ На основе английского эмпиризма и позитивизма он мог превзойти психологическую систему Гербарта.

² Хочется добавить еще, что и в художественных произведениях Толстого содержится много верных педагогических наблюдений, в его художественном мире поставлены такие открытые вопросы эпохи, как женская эмансипация, своеобразие детской психики, роль семьи в воспитании (достаточно упоминать хоть *Семейное счастье* или *Анну Каренину*).

³ Достоевского волновали актуальные проблемы воспитания своего времени: они акцентированы, напр., в *Подростке*, в *Братьях Карамазовых* и в *Дневнике писателя*. Конечно, для Миклоша Сабо такие отступления чрезмерно осложнили бы задачу, и объем труда увеличился бы значительно, наше замечание относится скорее к дальнейшим перспективам темы.

В последних главах (XXII-XXIV) анализируется положение национальных меньшинств и различных церквей или конфессий (православие, католики, евреи) с точки зрения образования; идет речь о новых веяниях в педагогике (опыты западного воспитания, напр. «школа жизни» J. Dewey, «школа работы» G. Kerschensteiner), об экспериментальных методах и о раннем представителе педагогической психологии – И.А. Сикорском. Тысячелетняя история русского воспитания в монографии Миклоша Сабо «останавливается» у порога советского периода: он дает беспристрастную оценку педагогической деятельности Н.К. Крупской, говоря о влиянии на нее английских, немецких, французских и швейцарских «новых школ», рассматривает большевистскую концепцию школы будущего.

На этой исторической цезуре заканчивается книга венгерского ученого, языковеда и педагога. Но после него осталось довольно большое количество записок о советском периоде воспитания. Трудно предсказать, найдется ли достойный продолжатель этой работы у нас.

Монография Миклоша Сабо является важным научным фактом, в Издательстве Венгерской Академии Наук шла речь уже об английском переводе, что открыло бы доступ к книге специалистов вне венгерского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 3 т. Т. III. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1948. – 928 с.

Дуккон, Агнеш. На перекрестке жанров: атрибуты исповеди и дневника в эпистолярности Белинского. In: *Memuartyka rosyjska i jej konteksty kulturowe*. Studia Rosica XX. T. I. / Red. naukowa Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Ludmiła Łuciewicz. – Warszawa, 2010. – S. 25-33.

Дуккон, Агнеш. Диалог текстов: «голос» В.Г. Белинского в «Записках из подполья» Ф.М. Достоевского// Культура и текст: электронный журнал. – №1(14). – 2013. – С. 4-28.

Szabó Miklós: Az orosz nevelés története (988-1917). Akadémiai Kiadó Budapest – Pro Print Kiadó, Csíkszereda, Romania, 2003. [Миклош Сабо: История русского воспитания (988-1917). Издательство



Венгерской Академии Наук, Будапешт – Издательство Про-Принт
(Чиксеред, Румыния), 2003.]

ТЕКСТ. МОТИВ. ИНТЕРТЕКСТ

И.В. ЛЬВОВА¹

Петрозаводский государственный университет

«ДОСТОЕВСКИЙ ПО ГАРПУ»: ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ МОТИВОВ И ОБРАЗОВ ДОСТОЕВСКОГО В РОМАНЕ ДЖОНА ИРВИНГА «МИР ПО ГАРПУ»

Статья посвящена особенностям рецепции творчества Ф.М. Достоевского американским писателем Д. Ирвингом, рассматриваются способы варьирования заимствованных у Достоевского мотивов, сюжетных ситуаций в самом известном романе писателя «Мир по Гарпу».

Ключевые слова: рецепция, творчество Ф.М. Достоевского, пародия, взаимодействие, типологическое сходство.

I.V. LVOVA

(Petrozavodsk state University)

“FYODOR DOSTOYEVSKY ACCORDING TO GARP”: ON JOHN IRVING’S EXPLOITING SOME OF DOSTOYEVSKY’S MOTIVES AND IMAGERY IN HIS NOVEL “THE WORLD ACCORDING TO GARP”

The article is devoted to an American writer John Irving’s specific reception of Dostoevsky. It focuses on transformation of motifs of Dostoevsky’s “Eternal Husband” in Irving’s novel “The World according to Garp”, and points out the influence of Dostoevsky’s work in making an absurd character living in an absurd world.

¹ Ирина Васильевна Львова, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры германской филологии Петрозаводского государственного университета

Особенность рецепции Достоевского США в 1950-1970-годов, характеризуется, прежде всего, углублением интереса к творчеству писателя и попытками адаптации тем, мотивов, идей к американской литературной традиции. Это новый важный этап в формировании американского восприятия Достоевского, период переосмысления ряда представлений о его творчестве, сформированных в годы т.н. «культа Достоевского» двадцатых годов. В 1950-70 годы происходит взрыв интереса к творчеству писателя как академического (возникновение американского достоевсковедения приходится на эти годы), так и литературного. Многие писатели послевоенного поколения обращаются к творчеству Достоевского, испытывают его влияние (Р. Райт, С. Беллоу, Д. Сэлинджер и др.). Для послевоенной рецепции Достоевского характерно утверждение представлений о нем как писателе-психологе, философе, новаторе художественной формы. Этот аспект восприятия Достоевского в США достаточно хорошо изучен.

Однако в эти же годы формируется другое «несерьезное» отношение к Достоевскому, обращение к текстам писателя становится предметом для иронического переосмысления и пародии.

Роман Джона Ирвинга (John Winslow Irving, р. 1942) – одного из крупнейших американских писателей второй половины XX – начала XXI в., – «Мир по Гарпу» дает представление об особенностях и характере трансформации мотивов Достоевского, специфике их функционирования в ином, комическом контексте.

Исследователи творчества Д. Ирвинга обычно обращали внимание на воздействие Ч. Диккенса на становление Ирвинга-писателя [Hirsch, 1979; Веденеева, 2008], влияние творчества Ф. Достоевского не изучалось

Ирвинг называл Достоевского одним из писателей, которые вызывают у него восхищение. Он неоднократно подчеркивал связь своего творчества с традицией психологического романа девятнадцатого столетия: «Я старомодный писатель, – я пишу, как романист девятнадцатого века по старым правилам». Развивая эту мысль он подчеркивал: «писатель не должен бояться накала страстей <...> в современном романе писатели не подвергают своих героев острым переживаниям. Мне кажется, что Достоевский, Флобер, Гарди не одобрили бы такого подхода» [Irwing, 2005].

Однако отношение американского писателя к «старой» традиции постмодернистское: интертекстуальность, игра с текстами

предыдущих эпох становятся отличительной чертой поэтики его произведений. В романе «Мир по Гарпу» – Ирвинг использует аллюзии на произведение Достоевского «Вечный муж».

Роман «Мир по Гарпу» (1976 г.) – самое известное произведение писателя, ставшее культовой книгой десятилетия, сравнимой с романом «Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера. Это роман воспитания и роман-биография писателя Т.С. Гарпа, поэтому тема становления художника – ведущая в романе. Тем самым в романе заявлены две точки зрения на творчество Достоевского: героя и самого автора.

Первое упоминание Достоевского в романе связано с периодом ученичества и становления Гарпа-художника, когда он знакомится с творчеством австрийского писателя Грильпарцера, сентиментальный рассказ которого «Бедный музыкант», (считавшийся шедевром) «отдаленно напомнил <ему> русские рассказы девятнадцатого века, где часто герой был нерешителен, робок и вообще неудачник во всех отношениях» [Irving, 1976, с. 126]. Считая Грильпарцера посредственным писателем, Гарп противопоставляет ему Достоевского, который, по мнению Гарпа, может увлечь читателя подобным «слезливым сюжетом». Позже, Гарп заметит, что особенностью произведений Достоевского является психологическая сложность характеров и двусмысленность ситуаций, в которые он ставит своих героев.

Таким образом, взгляд на Достоевского героя романа Ирвинга вполне традиционен для американской рецепции. Вряд ли можно говорить о том, что Достоевский оказал влияние на творчество Гарпа. В романе Ирвинга приводятся фрагменты произведений героя, однако очевидно, что его прозе не свойствен психологизм Достоевского. Возможно говорить лишь о сходстве сюжетных коллизий, а именно двусмысленности ситуаций, в которую нередко попадают герои произведений Гарпа.

Присутствие Достоевского обнаруживается не в творчестве, а в жизни Гарпа, судьба которого соотносится Ирвингом с историей «вечного мужа» Достоевского. Можно констатировать существование типологически сходных мотивов в произведении Ирвинга и Достоевского «Вечный муж».

Очевидно, что обращение к теме «вечного мужа» объясняется важностью проблем семьи и брака в романе. Не случайно исследователи рассматривают произведение как семейную сагу, где тема внутрисемейных отношений – одна из главных. Девятая глава так и называется «Вечный муж», а по замыслу должна была открывать книгу. В окончательном варианте тема вечного мужа звучит в самый драматичный момент жизни Гарпа – когда его семейная жизнь оказывается под угрозой разрушения, а измена жены, его ревность приводит к трагическому финалу – гибели сына.

Сама тема вводится в роман с помощью эпизода, который, как оказывается впоследствии, имеет символический смысл. Гарп знакомится с миссис Ральф, матерью друга своего сына, которая при встрече швыряет в него книгу Достоевского.

Отсылка к «Вечному мужу» Достоевского, таким образом, вводит в роман новые мотивы: измены, ревности и дает новый контекст, в котором положение героя рассматривается через призму повести Достоевского.

Как ситуация «вечного мужа» осмысливается в романе? Можно ли Гарпа назвать «американской разновидностью «вечного мужа»?

У Достоевского определение типу «вечного мужа» дает Вельчанинов, который «был убежден, что ...существует соответственный этим женщинам тип мужей, которых единое назначение заключается только в том, чтобы соответствовать этому женскому типу. По его мнению, сущность таких мужей состоит в том, чтоб быть, так сказать, «вечными мужьями» или, лучше сказать, быть в жизни только мужьями и более уже ничем. ... Главный признак такого мужа – известное украшение» [Достоевский, 1974, с. 37]. Как известно, хотя повесть Достоевского строится вокруг образа Вельчанинова, философско-психологическим центром произведения становится «подполье» Труссоцкого, которое постепенно раскрывается Вельчанинову. Достоевский превращает покорного, «смирненного» человека, который был добрым мужем, отцом, верным другом, в мстителя. В поступках Труссоцкого проявляются свойства деспота и жертвы, который любит быть мучителем и до страсти любит страдание.

Многое из того, что составляет феномен «вечного мужа» (подпольность, самоуничужение и болезненная амбициозность.

социальная неполноценность, которая порождает тип жертвы, хищника и буффона, желание самоопределения, мести, сложность мотивировок поведения) нет у Ирвинга. Главный мотив – мести – снят в романе, а, следовательно, сюжетные коллизии, связанные со сложной местью Трусоцкого и его самоопределением – в романе Ирвинга отсутствует. Да и социальная роль Гарпа не может быть сведена к одной функции – мужа.

В образе «вечного мужа» Ирвинга актуализируются прежде всего его комические черты. Соединение трагического и комического является отличительной особенностью произведений Дж. Ирвинга [Bloom, 2001; Miller, 1982] его герой – живет и действует всегда в трагикомических обстоятельствах.

На наш взгляд, ключ к пониманию особенности типа «вечного мужа» у Ирвинга содержится в разговоре Миссис Ральф и Гарпа, который он после перескажет жене:

«Вы ведь писатель?» – обвиняющим тоном сказала миссис Ральф, помахала книгой «Вечный муж» перед Гарпом и спросила «Что вы думаете об этом?». [Irving, 1976, с. 257]. «Это прекрасная история» – сказал Гарп. К счастью, он помнил эту книгу, искусно усложненная (neatly complicated), полная описаний извращений и противоречий в человеческой природе. «Я считаю, что это отвратительная (sick) история. Мне бы хотелось знать, что особенного в этом Достоевском». «Ну, сказал, – Гарп, – его герои сложны эмоционально и психологически». «Его женщины даже меньше, чем просто объекты», – сказала миссис Ральф. – «Они бесформенны (don't have shape). Это просто идеи, которые мужчины обсуждают и с которыми играют», – она вышвырнула книгу из окна, та угодила в Гарпа и отлетела на поребрик». [Irving, 1976, с. 257-258]

Ирвинг изменяет контекст, в котором существует его герой, тем самым трансформирует и тип «вечного мужа». Это контекст – женский, феминистский (мать Гарпа – известная феминистка). Изменение он раскрывает позднее, в диалоге Гарпа и его жены, Хелен. «Странная книга, которую могла бы женщина дать мужу другой женщины». «Она не дала мне ее, а бросила ее в меня <...> Она сказала Достоевский несправедлив к женщинам».

Хелен выглядела озадаченной «Я бы не сказала», что история об этом». «Конечно, нет, вскричал Гарп. – «Эта женщина – идиотка. Он понравилась бы моей матери». [Irving, 1976, с. 261].

Феминистский дискурс помогает выявить в типе вечного мужа новые черты: это муж, исполняющий в семье нетрадиционную гендерную роль – муж-домохозяйка, живущий интересами детей и дома, в то время как его жена делает карьеру. В обществе это положение рассматривается как подчиненное, не соответствующее традиционной мужской роли, а, следовательно, комическое. На деконструкции традиционных гендерных ролей построен комизм ситуаций в романе. Абсурдность положения героя усиливается желанием Гарпа стать консультантом по вопросам семьи и брака. Тем не менее, изменение гендерной роли не создает проблему самоопределения героя. Гарп вовсе не играет подчиненную роль в семье, его гендерное поведение осталось прежним, кроме того, исполнение женских обязанностей не приблизило его к пониманию женского мира и женской психологии.

«Комическое» выявляет неопределенность той роли, которую Гарп играет в браке. В частности, «комическое» проявляется в сцене визита к миссис Ральф, где он выполняет и функцию мужа (выдворяя молодого любовника) и потенциального любовника.

В романе Ирвинга история «вечного мужа» рассказана с точки зрения Гарпа, «вечного мужа» и его жены, в то время как у Достоевского мы видим происходящее глазами Вельчанинова, любовника.

История измены дана с точки зрения Хелен, таким образом, она становится равноправным участником действия и независимым повествовательным голосом. Ситуация измены представлена как ситуация абсурдная, психологически она мало мотивирована, скорее в ней показан автоматизм происходящей измены, иррациональная сила соблазна, которой не может противостоять интеллектуалка Хелен. Вновь актуализируется комический аспект ситуации, заканчивающийся трагикомическим наказанием любовника. Женская точка зрения, отсутствующая у Достоевского, позволяет включить голос другого, таким образом создать новую повествовательную модель.

Как и Достоевский, рассказывая историю доверчивого мужа, Ирвинг перемежает откровенно буффонные сцены с драматическими.

Комизм положений, в которые попадает герой, сменяется трагической развязкой. Гибель ребенка (мотив, типологически связанный с Достоевским) лишь подчеркивает трагизм абсурдного мира и героя, подтверждая главную идею книги: «В мире, по Гарпун, мы все безнадежны» (terminal cases) [Irving, 1976, с. 609].

Пародирование мотивов Достоевского, прямые отсылки к тексту русского писателя – приемы, позволяющие Ирвингу создать образ абсурдного героя, живущего в абсурдном мире, современного американского «вечного мужа», и, таким образом, включить творчество Достоевского в современный культурный контекст.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Веденеева, О.Е. Диккенсовская «философия рождества» в романе Джона Ирвинга «Молитва об Оуэне Мине» / О.Е. Веденеева // Организация учебного процесса в современных условиях. – Владивосток, 2008. – С. 108-110.

Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Л.: Наука. –1974. – Т. IX. –528 с.

Bloom, H. John Irving / H. Bloom. – N.Y.: Chelsea house publications, 2001. –154 p.

Hirsch, M. The of Formation as Genre: Between Great Expectations and Lost illusions / M. Hirsch // Genre: University of Oklahoma. 1979. – Fall. –Vol. 13. – P. 15-21.

Irving, John. The World According to Garp. – N.Y., 1976. Цитаты даются в авторском переводе.

Irving, John. Interview // National Book Award. Academy of Achievement. 2005. – June 3. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.achievement.org/autodoc/printmember/irvOint-l>. (дата обращения 16.10.2014).

Miller, G. John Irving / G. Miller. – N.Y.: Fred. Ungar, 1982. – 226 p.

Е.А. МОСКОВКИНА¹

Алтайская государственная академия культуры и искусств

**МОТИВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В РОМАНЕ А. ИВАНОВА «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»**

Роман А. Иванова «Географ глобус пропил» прочитывается сквозь призму интертекстуальной игры. В статье выявлены мотивы русской классики, обнаруживающие традиционный для русской ментальности вектор духовного поиска, пути, креста, служения, смирения и бунта.

Ключевые слова: интертекст, миф, мотив, символ, поэтика, пародия, проза, русская классика.

E.A. MOSKOVKINA

(Altai State Academy of Culture and Arts)

**RUSSIAN CLASSICAL LITERATURE MOTIVES IN A. IVANOV'S
NOVEL
“A GEOGRAPHER WHO DRANK A GLOBE AWAY”**

The novel by A. Ivanov «A Geographer Who Drank a Globe Away» is interpreted through the prism of intertextuality play. In the article the author discovers in the analyzed novel motives of Russian classical literature that reveal a traditional trend for Russian mentality consisting in a spiritual search, finding a pathway, bearing a cross, devotion, submission and riot.

Key words: intertext, myth, motive, symbol, poetics, parody, prose, Russian classical literature.

Одна из тенденций современной литературы – так называемый «новый реализм»: попытка прорыва из окружения коммерческой беллетристики, восстановления былого литературоцентризма.

¹ Евгения Александровна Московкина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела организации научно-исследовательской работы Алтайской государственной академии культуры и искусств

Безусловное открытие нулевых – Алексей Иванов. Критики отмечают, что в романе «Географ глобус пропил» (1995) он делает ставку на «привычный реализм бытовой прозы советского толка» (так, например, книга, бесспорно, прочитывается сквозь призму соцреалистического романа-воспитания¹). Однако, пожалуй, ни в одном романе советского периода отечественной литературы нет такой изумительной иронии, такого искрометного юмора, далекого от соцреалистического оптимизма смеха на фоне экзистенциальной обреченности, такого виртуозного владения словом литературным во всех его фольклорных перебивках и валентностях, «тотальной» амбивалентности с бесконечным пародированием, карнавальной (в бахтинском понимании [Бахтин, 1990]) игрой, которые, по сути, являются для автора репрезентацией самой обычной жизни.

Наслоение временных пластов (детство и зрелость героя²), настроений и впечатлений (от эйфории до депрессивной апатии), интенсивность авантюрной линии, философичность и драматичность,

¹ О.А. Сысоева рассматривает роман Иванова о школе как пародию на романы-воспитания: «Как закалялась сталь» Н.А. Островского, «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко, а также «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Танкер - Дербент» Ю. Крылова, «Конduit и Швамбрания» Л. Кассиля, «Ташкент – город хлебный» А. Неверова, «Республика ШКИД» Л. Пантелеева, Г. Белых, «Правонарушители» Л. Сейфуллиной, «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева [Сысоева, 2014, с. 185]. Однако формальная близость романа Иванова жанру романа-воспитания не является гарантом идеологического тождества. Интересную позицию по отношению к литературе, как будто предупреждая возможную дискуссию, высказывает alter-ego автора: *«Доверишь листу – не донесешь Христу. Поэтому, какой бы великой ни была литература, она всегда только учила, но никогда не воспитывала»* [Иванов, 2014, с. 242].

² Начало 80-х и 90-е гг. – это не просто этапы возрастного становления героя, это столкновение двух разных исторических эпох – доперестроечной и постперестроечной – конфликт идеологий, мировоззрений, аксиологий. Драма героя в том, что при всей своей мобильности в вихре исторических перемен он «остается прежним»: *«По-моему, нужно меняться, чтобы стать человеком, и нужно быть неизменным, чтобы оставаться им. Я вот каким был тогда, в университете, таким и остался сейчас... А друзья... Друзья переменялись - вместе со временем, вместе с обстоятельствами...»* [Иванов, 2014, с. 199].

и, в то же время, легкость и ненавязчивость сюжета, отсылающего местами к классической традиции, местами к эксцентричному фарсу, тонкая ирония и масса литературных и стилистических интертекстуальных «перевертышей» и «двойников»¹ – все это формирует постмодернистский текст, искусно сложенный из многочисленных фрагментов литературной традиции, культурных маркеров и художественных «слепков» самой жизни, в комплексе создающих «психологический портрет» наиболее напряженного десятилетия новейшей отечественной истории (1990-е гг.).

Стиль автора необычен и притягателен², однако первое издание «Географа» не вызвало явного читательского интереса и не стало предметом активного изучения литературоведов. Первые шаги Иванова в большую литературу, говоря словами Г. Ребель, «не потрясли читающий мир» [Ребель, 2006]. Роман «Географ глобус пропил» вышел в свет спустя восемь лет после его создания. Издательство «Вагриус», впервые опубликовавшее роман, существенно сократило текст, исключив из него важнейшую содержательную составляющую – судьбу героя-школьника, определяющую вектор развития следующих жизненных этапов центрального персонажа, сквозь «детский мир» учителя вскрывающую возрастные и психосоциальные мотивы поведения «зондеркоманды» и «красной профессуры». За пределами книги остались также некоторые «скабрзности» и «непристойности», формирующие неповторимый речевой облик горе-учителя. Поэтому первое издание оставляет

¹ «В “школьном” романе А. Иванова создана целая система героев-двойников: Надя/Саша/Ветка/Кира, Лена/Маша, Служкин / Будкин / Колесников», – отмечает О.А. Сысоева [Сысоева, 2014, с. 186]. Более того, мужские и женские персонажи также вступают в отношения взаимной рефлексии: очевидное сходство характеров наблюдается в парадигме Служкин /Саша; Будкин /Кира; Колесников /Ветка; Овечкин /Маша. Итолько Надя и Лена оказываются вне этой системы отражений, в стороне *«от страха, от любви, от жизни»* [Иванов, 2014, с. 308].

² «Авторский язык, – пишет Г. Ребель о стилистических особенностях «Географа», – обладает такой образно-созидательной силой, лексической емкостью и стилистической устойчивостью, что оказывается способен выдержать даже очень существенные перегрузки» [Ребель, 2006].

впечатление незавершенности, несобранности произведения. Только более поздние публикации представили на суд читателя полный текст.

Наряду с программными соцреалистическими установками объектом пародирования и в то же время серьезного осмысления в романе становится русская классическая литературная традиция XIX в.

«Географ» пропитан литературными маркерами – герой пишет стихи, цитирует классиков, философствует: *«Думать всегда страшно...»*; *«Мы никогда не ошибаемся, если рассчитываем на человеческое свинство<...> Ошибаемся, лишь когда рассчитываем на порядочность. Что значит «исправить свои ошибки»? Изжить в себе веру в людей?... Самые большие наши ошибки – это самые большие наши победы»*; *«Находишь только тогда, когда не знаешь, чего ищешь. А понимаешь, что нашел, чаще всего только тогда, когда уже потерял»*; *«Я думаю в самом узком масштабе – только человек»*; *«Потерять можно только то, что имеешь»* [Иванов, 2014, с. 83, 186, 199, 186, 421].

Хорошо эрудированный Служкин бесконечно сыплет цитатами философов, литераторов, публицистов, искажая их настолько, насколько того «требует» контекст. Автор романа, таким образом, применяет своеобразную технику популяризации-фольклоризации классики в раёшно-лубочном варианте, его герой манипулирует высказываниями признанных ученых, поэтов, мыслителей так же легко, как бесцеремонно «присваивает» новые смысловые оттенки текстам шлягеров (*«Эти глаза не против»* [Иванов, 2014, с. 187]). Среди цитируемых авторов герой отдает несомненное предпочтение Пушкину, например: *«Жег глаголом, да назвали балаболом»*; *«Но долго буду тем любезен я народу, <...> что чувства добрые я лирой пробуждал»* [Иванов, 2014, с. 61, 96].

Есть в романе пародия на стихотворение М. Цветаевой (которая, в свою очередь, считала себя ученицей Пушкина [Цветаева, 2012]) «Прохожий»:

*Помедли, случайный прохожий,
У этих гранитных плит.
Здесь тело Петрова Алеши*

*В дубовом гробу лежит*¹ [Иванов, 2014, с. 38].

Имя центрального героя – Виктор Сергеевич Служкин, безусловно, созвучно имени великого русского поэта. Это соответствие не случайно – в романе есть эпизод, «поддерживающий» логику анаграммы. Сын бывшей одноклассницы Служкина Лены Анфимовой не может отчетливо произнести фамилии Таты – дочери героя: «– *А мне Андрюша говорил: «Тата Шушкина, Тата Шушкина»...*, – рассказывает Лена, – *Я думала – Шишкина или Сушкина... – Или Пушкина»* [Иванов, 2014, с. 45], – продолжает Служкин.

В парадигму Служкин/Пушкин включаются и другие созвучные имена: например, Будкин и даже Пуджик (кот героя).

Кот – далеко не эпизодический персонаж, он появляется в романе уже в третьей главе «Знакомство» и, почти непрерывно сопровождая героя на протяжении всего повествования, фигурирует в заключительной сцене. Вечно мимикрирующий, обаятельный, независимый и нахальный, как булгаковский Бегемот, неуязвимый, как мифологический кот-баюн, мудрый, как пушкинский Кот ученый, Пуджик – своеобразный семейный талисман в непутевой супружеской жизни Служкина. Кот как будто смягчает бытовые неурядицы, снимает напряжение полных драматизма выяснений отношений Служкина и Нади, манипулирует вниманием и эмоциями героев и читателя. Почти все «домашние» эпизоды романа оживлены присутствием Пуджика, который делает, казалось бы, неустроенную жизнь Служкина неожиданно уютной и состоятельной². Исчезновение

¹Ср. у Цветаевой: *«Идешь, на меня похожий, // Глаза устремляя вниз. // Я их опускала - тоже! // Прохожий, остановись!»* [Цветаева, 2000].

² Уже в главе «Знакомство», где, собственно, и состоится знакомство читателя с Пуджиком, подчеркивается его вездесущность: *«На подоконник тотчас прыгнул Пуджик, чтобы видеть, чего станут есть. Он как-то мгновенно уже успел всем осточертеть: Тата об него запнулась, Служкин наступил на хвост, Надя чуть не прищемила ему голову дверцей холодильника, а Будкин едва не сел на него»* [Иванов, 2014, с. 14]. Далее присутствие кота становится менее навязчивым, но неизменным: *«Надя уткнулась лицом в стену, в старый, потертый ковер, пропахший пылью и Пуджиком», «Тата: укладывала Пуджика в коляску. - Спи, дочка, - говорила она, укрывая кота кукольным одеялком», «Служкин на четвереньках ползал под кроватью с*

кота или посягательство на его жизнь (двоечник Градусов угрожает Географу расправой над котом) воспринимаются Служкиным весьма неравнодушно, более того, герой частично отождествляет себя с Пуджиком¹. Таким образом, кот – одна из ключевых мифологем [Токарев, 1994, с.10] романа Иванова наряду с такими архетипами как река, дорога, путешествие и пр.

Тандем Будкин/Служкин напоминает дружбу Онегина и Ленского. Будкин – интересуется многочисленное женское окружение Служкина исключительно как выгодная партия: ср. *«Богат, хорош собою, Ленский // Везде был принят как жених»* [Пушкин, 1984, с. 63]. Разные до противоположности Служкин и Будкин (Ср. *«Они сошлись. Волна и камень, // Стихи и проза, лед и пламень // Не столь различны меж собой»* [Пушкин, 1984, с. 63]), примеряют на себя «маски»² то

пылесосом. Пуджик, раздувшись огромным шаром, сидел в прихожей на полке для шапок и шипел на пылесосный шланг» и пр. [Иванов, 2014, с. 19, 80, 92].

¹ « - Ты рыбу коту купил? - не здороваясь, спросила Надя. - Нет? Своим ужином его кормить будешь. Пока не разделся, сходи в подвал, пощи его. Потом мусор выброси.

С ведром в руке Служкин вышел из подъезда. Он направился вдоль фундамента дома, кискиская в разбитые подвальные окна. Из одного окна в ответ раздалось задумчивое бурчание и скрежет когтей по водопроводным трубам. Служкин присел возле этого окна на корточки и позвал снова:

- Кис-кис-кис... Пуджик, гад... Кис-кис-кис... Ты чего сбежал? Кормят, что ли, плохо? Или дорогу домой забыл? Кис-кис-кис... Иди сюда, куда исчез?... Кис-кис-кис...

Опять пропал, сволочь... Кис-кис... **Ладно - я, а ты-то чего выпендриваешься?»** (выделено нами – Е.М.) [Иванов, 2014, с. 161].

² Тема маски применительно к художественной традиции возникает в философской дискуссии Служкина и Киры: «- Для тебя понятия правды и неправды неприемлемы, как для **романа**. Твои **маски** так срослись с тобой, что уже составляют единое целое. Даже слово-то это – "маски" – не подходит. Тут уже не маска, а какая-то пластическая операция на душе. Одно непонятно: для чего тебе это нужно? Не вижу цели, которой можно добиться, производя дурацкое впечатление.

– Могу тебе назвать миллион таких целей. Начиная с того, что хочу выделиться из массы, кончая тем, что со мной таким легче жить. Впрочем, если ты помнишь **классиков**, "всякое искусство лишено цели". Так что возможен вариант "в белый свет как в копеечку»" [Иванов, 2014, с. 218] (выделено нами – Е.М.).

одного, то другого пушкинского героя: более романтический Служкин напоминает восторженного Ленского, прагматичный, пресыщенный жизнью Будкин по-онегински хандрит, непринужденно влюбляет в себя Надю, получает любовное послание от Сашеньки Руневой, окруженный женским вниманием, питает подлинный интерес только к замужней женщине. Однако, с другой стороны, постоянно рефлексирующий, ищущий себя, неудовлетворенный, наделенный всем комплексом черт «лишнего человека» Служкин, безусловно, апеллирует к онегинскому типу, в то время как некоторое самолюбование, уверенность в собственной неотразимости, максимализм и успех у женщин Будкина инвертирует последнего в пародию Ленского. Жонглирование литературными амплуа автором «Географа» реконструирует и одновременно дестабилизирует схему классического романа XIX в.¹

Обращает на себя внимание необычное имя дочери героя романа: Тата – вероятно, что-то среднее между Татьяной и Натальей (это, пожалуй, самые значимые имена в судьбе Пушкина) – противопоставлена всем любовным увлечениям и интрижкам Виктора Служкина как высокая непреходящая безусловная любовь. Другая героиня романа – Маша Большакова также носит имя самых трепетных пушкинских героинь («Дубровский», «Капитанская дочка», «Метель»).

Кстати, отношения Служкина и Маши, которые выглядят как мезальянс (учитель и ученица), по меркам XIX в. таковыми не

¹ Сославшись на логику А.В. Млечко в отношении «русских» романов Набокова, О.А. Сысоева очень точно, на наш взгляд, определяет принцип пародирования Иванова: «роман Алексея Иванова находится в сложной системе интертекстуальных связей с рядом текстов предшествующей культуры, пародирование которых становится формальным стержнем всего произведения. Причем подражание объекту пародии касается только внешней стороны, имея совершенно иную внутреннюю направленность. Пародия при этом выступает не столько как способ организации художественного материала, сколько как форма диалога с традицией, «своеобразная форма памяти – не крушение кумиров, не заполнение пустующих форм новым содержанием, но творческое обыгрывание, вживание в их казавшуюся мертвой плоть новых смыслов» [Млечко, 2003, с. 51-52]. В этом отношении Алексей Иванов попадает в центр проблемного поля поисков новой художественной литературы» [Сысоева, 2014, с. 186].

являются: Служкину – 28 лет, Маше – 14. Пушкин впервые встретил 16-летнюю Наталью Гончарову, когда ему было 29 лет, и женился на ней спустя 2 года.

Еще одна «пушкинская аллюзия» – Роза Борисовна – завуч школы, в которой работает Служкин. Называя свою непосредственную начальницу «Угрозой», герой романа как будто намекает на банальную рифму (поэтический штамп), неоднократно высмеиваемую Пушкиным: розы/слезы/морозы/угрозы.

Возьмем для примера знаменитые строфы (VII-VIII и XLII) четвертой главы «Евгения Онегина», в которых как будто есть намек и на отношения Служкина и Маши (тема «обольщения» неискушенной девицы, юность героини, находящейся под «надзором» матери, еще более пристально «надзирающей» за мужским окружением дочери) и встречается упомянутая рифма:

VII

*Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.*

...

VIII

*Кому не скучно лицемерить,
Различно повторять одно,
Стараться важно в том уверить,
В чем все уверены давно,
Всё те же слышать возраженья,
Уничтожать предрассужденья,
Которых не было и нет
У девочки в тринадцать лет!
Кого не утомят угрозы,
Моленья, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольца, слезы,
Надзоры теток, матерей,
И дружба тяжкая мужей!*

XLII

И вот уже трещат морозы

*И серебрятся средь полей
 (Читатель ъждет уж рифмы **розы**;
 На, вот возьми ее скорей!)* [Пушкин, 1984, с. 105, 122]
 (выделено нами – Е.М.)

В «Географе» находит место и мотив пушкинской эпистолярной «трагедии». Сашенька (так, кстати, звали одну из сестер Натальи Гончаровой, с которой Пушкину приписывали роман) пишет письмо Будкину и заочно (через Служкина) получает «онегинскую» отповедь (правда, слова Будкина Служкин Сашеньке так и не передает). Тема любовной переписки продолжается и в отношении Маши и Служкина: эти герои ведут эпистолярный диалог в школьных тетрадах.

На смену изощренной риторике эпистолярной традиции классического романа в «Географе» приходит визуализация при крайней экономии речевых ресурсов. Вербальная сдержанность переписки героев («письмо» Сашеньки, например, состоит из семи предложений и явно уплотняет модель «записок на шести листах») дополняется в романе Иванова целым арсеналом образных средств, близких к кинематографическим: «...смутилась Саша и достала из кармана сложенный вчетверо тетрадный листок», «Лаконично и поэтично, – сказал Служкин, складывая листок и убирая в карман», «Будкин задумчиво начал складывать из письма самолетик. <...> Будкин ловким, точным движением запустил самолетик. Тот нырнул, вынырнул, полетел за край крыши по красивой нисходящей линии, пронесся над желто-зеленым ветхим тряпьем березок в сквере и вдруг без видимой причины кувыркнулся вниз и исчез в тени, как в озере. <...> Вечером Служкин отправился в садик за Таточкой, но, отойдя от подъезда на пять шагов, вдруг свернул с тротуара и через ограждение полез в сквер. Забравшись в заросли поглубже, он осмотрелся, подпрыгнул и выдернул из листвы березки маленький бумажный самолет» [Иванов, 2014, с. 28, 30, 32]. «Похождения» Сашенькиного письма превалируют над его содержанием: характеры героев раскрываются через взаимодействие с письмом как фетишем, как бы минуя текст последнего. Манипуляции с письмом – сворачивание/разворачивание, перемещение во времени и пространстве, взлеты и падения, его трансформация – тетрадный листок/самолетик – через инфантильный семиотический комплекс

дезауалирует хрупкие человеческие отношения, мимолетные и неотвратимые повороты судеб героев, сакральное и профанное в мифопоэтическом пространстве романа.

Неразрывную связь «Географа» с традицией русской классики подчеркивает одна из центральных глав романа – глава 32 «В том гробу твоя невеста...». Это, без сомнения, самый «пушкинский» эпизод романа, озаглавленный цитатой из сказки «О спящей царевне...», которую Служкин читает на ночь маленькой дочери. В этой же главе Служкин в травестийной, анекдотической манере рассказывает о «дуэли» юного (одинадцатилетнего) Будкина со старшеклассником Колесовым. Здесь тоже угадывается созвучие Колесов/Дантес; будущая профессия Колесова («мент») соотносится с военной карьерой Дантеса; имя Колесова – Владимир, безусловно, отсылает к образу литературного дуэлянта – Ленского. Будкин, жестоко ревнуя вожатую к старшекласснику Колесникову, похищает у сторожа ружье с твердым намерением «сразить» соперника. Портретное описание Будкина очень напоминает юного Пушкина: он был, по словам Служкина, «...мелким и уплым тушканчиком с большими и грустными глазами и весь в кудрях. Еще он был очень тихим, застенчивым и задумчивым...» [Иванов, 2014, с. 207]. Примерно так выглядит Пушкин-лицеист на знаменитой гравюре Е. Гейтмана (1822)¹.

¹ Поскольку детская память Виктора Служкина на редкость отчетлива, портреты классиков из школьных кабинетов также намеренно врезаются в роман, как и цитаты выдающихся литераторов: «Под потолок уходили портреты классиков вперемежку с их цитатами. Все это было знакомо Витьке почти до замыленности» [Иванов, 2014, с. 112]. Графические пародии в романе дополняют литературные: «Хмыкнув, Витька открыл учебник и нашел нужную страницу. Там была фотография "В. В. Маяковский на выставке "20 лет работы". Здоровенный Маяковский, улыбаясь и скрестив руки на стыдном месте, разговаривал с пионерами на фоне плакатов, где были изображены разные уродливые человечки. Взяв ручку, Витька принялся разрисовывать фотографию: одел Маяковского в камзол и треуголку, а пионеров в папахи, ватники и пулеметные ленты. Внизу Витька подписал: "Встреча Наполеона с красными партизанами". Такими переработками сюжетов Витька испакостил весь учебник. Даже на чистой белой обложке, где строго синел овал с портретом Горького, Витька приделал к голове недостающее тело, поставил по бокам бурлаков в лямках, а на дальнем плане

Заканчивается глава, пожалуй, самым пронзительным и глубоким диалогом Служкина и Нади, вскрывающим не только масштабы и драматичность характера главного героя, но и всю полноту и определенность авторской позиции: *«Ну, Наденька, не плачь, – попросил он. – Ну перетерпи... Я ведь тоже разрываюсь от любви... – К кому? – глухо и гнусаво спросила Надя. – К себе? – Почему же – к себе?... К тебе... К Таточке... К Будкину... К Пушкину»* [Иванов, 2014, с. 215].

В романе причудливо сочетаются, но не конфликтуют приметы соцреализма (Брежнев, совет дружины, стенгазета и пр.), реалистического романа XIX в. (черты «героя нашего времени» и тема «лишнего человека», описания природы в духе русских классиков (Толстого, Тургенева, Бунина¹)) самого беззаботного фарса, который у Иванова парадоксальным образом всегда приобретает едва ли не трагический колорит. Таковы, например, «комический» эпизод траурной линейки в день смерти Брежнева, где по ошибке Служкина вместо реквиема звучит хит группы «АВБА» «Маны-маны», что является очевидным маркером постбрежневской эпохи, когда на смену идеологическим ценностям приходят материальные; сцена подглядывания в бане, в которой по стечению обстоятельств

изобразил барку» [Иванов, 2014, с. 110-111]. Важно, что герой преобразует образы классиков не из отвращения к последним, а, напротив, таким образом выражает неподдельный интерес к литературе: *«Рисуя, Витька внимательно слушал Чекушку. Ему было интересно»* [Иванов, 2014, с. 111].

¹ *«Поныш, который летом был шириною едва ли в двадцать шагов, сейчас разлился так, что затопил ельник на противоположном берегу докуда хватает глаз. Весна выдалась поздняя и дружная. Талые воды со склонов гор, из урочищ хлынули сплошным потоком. Этот поток стремительно нес сорванные ветки, источенные льдины, куски мха и дерна, недогнившую листву, обломки коры, черную траву. На стволы деревьев накрутило юбки из бурого мочала. Грязная пена тянулась по быстротоку, сбиваясь в комья над водоворотами. Поныш был мутным, как самогон»; «Лужи крыльями размахиваются по дороге и остаются позади взбаломученные, кофейно-задымленные»; «Вечер сгустил все краски, в цвета тропических рыб расписал хвосты и плавники облаков. Дикий, огненный край неба дымно и слепо глядит на нас бездонным водоворотом солнца. Надувная плешка и пригоршня человечков на ней - посреди грозного таежного океана. Это как нож у горла, как первая любовь, как последние стихи»* [Иванов, 2014, с. 314-315, 315-316, 321].

оказывается учительница; двоечники Безматерных и Безденежных – раздвоенный символ бесприютности и беспризорности детей 90-х – неприкаянные Труляля и Траляля; анекдотическая вставная новелла о приключениях Будкина в пионерском лагере; эпизод экстремального катания пьяного учителя на детских санках; почти водеvilьная сцена «Маша и Угроза Борисовна» в последней главе романа: *«Любой анекдот, – резюмирует герой, – это драма. Или даже трагедия. Только рассказанная мужественным человеком»* [Иванов, 2014, с. 217].

Особое место в «Географе» отводится фольклорной традиции. Герой проходит троекратную инициацию: жизнь школьника, жизнь учителя и жизнь в походе. Лентяй и дурак – ключевые характеристики героя русских сказок – «пристают» к Служкину с первых страниц романа: *«Ты лентяй, Витус, <...> Идеалист и неумеха. Только языком чесать и горазд»* [Иванов, 2014, с. 15], – обобщает Будкин. Дураком неоднократно называют Служкина Надя и Кира: *«Ты шут! Неудачник! Ноль! Пустое место!»* [Иванов, 2014, с. 83]; *«Сколько ни прикидывайся дураком, всегда найдется кто-нибудь дурее тебя, так что этим не выделитесь»* [Иванов, 2014, с. 218]. Связь образа главного героя, «юродствующего миру», скорбящего весельчака, с фольклорным дурачком не вызывает сомнений.

Конвергенция с Будкиным обнаруживает еще одну интертекстуальную параллель: Штольц/Обломов – с характерным любовным треугольником Служкин – Надя – Будкин. Будкин – делец, предприниматель/ Служкин–«лентяй», «идеалист и неумеха». В романе даже появляется хрестоматийный обломовский диван (гл. «Переселение на диван»), на котором Служкин проводит все время дома, проверяя работы школьников. Однако, в интерпретации Иванова классический любовный треугольник превращается в многоугольник: в него втягивается Тата – дочь Служкина и Нади, Маша, ученица Географа, о которой мечтает молодой по-пушкински влюбчивый учитель, его старые школьные увлечения – Лена, Саша, Ветка, новая страсть – Кира. Надя, в свою очередь, делает мучительную попытку уйти к Будкину, но возвращается к Служкину-неудачнику. И здесь вновь артикулируется весьма несовременная (пушкинская) этическая позиция Иванова: *«Я вас люблю (к чему лукавить?), // Но я другому отдана; // Я буду век ему верна»* [Пушкин, 1984, с.229]. В диалоге с

классикой Иванова его герой, в отличие от Онегина и Обломова, стоит по другую сторону брака, оценивает происходящее с позиции «другого». Вместо образа отвергнутого возлюбленного Иванов выводит из тени образ нелюбимого мужа, драма которого в том, что он не хочет принять в жертву порядочность жены и не умеет сделать ее счастливой.

Таким образом, герой «пронизывает» литературную традицию XIX в., «укоренившись» в мифопоэтическом комплексе народной культуры, – бесребренник, «иванушка-дурачок», балагур¹, он же трикстер – плут-проказник, бесконечно насмехающийся над жизнью – дурак, оставляющий в дураках всех и вся², он же – воплощение идеи лишнего человека (классическая литература XIX в) – талантливый, образованный, остроумный, не сумевший и по-обломовски не желающий самореализоваться, добиваться социальной

¹Связь с фольклорным началом подчеркивается поговорками и прибаутками, которыми пересыпана речь Служкина: *«хорош – не хорош, а вынь да положи»*, *«Доведет доброта, что пойду стучать в ворота»*, *«Нету толка, когда в заду иголка»*, *«В плечах аршин, а на плечах кувшин»*, *«дураков на сказки ловят»*, *«без шутки жить жутко»*, *«О нем поминки, и он с четвертинкой»*, *«Смышлен и дурак, коли видит кулак»*, *«Атлет объелся котлет»*, *«Новое поколение выбирает опьянение»*, *«не люблю, когда ставят сапоги на пироги»*, *«Брехать – не кувалдой махать»*, *«Командир пропил мундир»*, *«глисту длиною в версту»* [Иванов, 2014, с. 14, 16, 27, 47, 83, 84, 86, 87, 158, 188, 189, 438] и т.д. и т.п.

² Начинается роман с эпизода, где Служкин зайцем едет в метро и избегает штрафа, изображая перед контролерами глухонемого; роль учителя исполняется героем не менее экстравагантно, говоря словами Розы Борисовны *«...стиль общения с учениками весьма фриволен <...> Учитель, не соблюдая дистанции, держит себя наравне с учениками, вступает в перепалки, сидит на столе, отклоняется от темы урока, довольно скабрёзно шутит, читает стихи собственного сочинения...»* [Иванов, 2014, с. 52]; наиболее иллюстративна в этом отношении игра Служкина в подкидного с Градусовым – здесь появляется гоголевский мотив взаимодействия с нечистой («Пропавшая грамота»). Внешность Гардусова и его выходки явно коррелируют с фольклорными представлениями о бесах: *«Служкин закурил, блаженно шурясь, и вдруг увидел, что на том месте, где только что сидели девочки, из клубов дыма материализовался Градусов – маленький, нахотеленный, носатый, рыже-растрепанный и красный от злости»* [Иванов, 2014, с. 291].

значимости в ситуации глубокой депрессии так называемых «потерянных» 90-х.

Один из центральных смысловых перевертышей романа – Служкин (учитель/ребенок) приставлен «усатым нянем» к «проблемным» старшеклассникам, которых он называет «отцами». Школа как временное профессиональное пристанище Служкина становится символом продолжения школы жизни, пограничным мифопоэтическим пространством пути становления героя. Через школьников жизнь дает Географу новые и новые уроки, и под «патронажем» «отцов» он приобретает бесценный духовный опыт. Как видим, в тексте романа реализуется еще один интертекстуальный код тургеневской темы отцов и детей.

Прием выворачивания наизнанку сущности отдельных героев, социальных и философских ценностей реализуется у Иванова в контексте бахтинской смеховой амбивалентности (смещения верха и низа, сакрального и профанного). Ряд деталей в тексте романа прямо указывают на причастность художественного пространства «Географа» к поэтике карнавализации: Будкин меняет местами руки и ноги Татиной куклы, Колесов на место флага пионерской линейки определяет трусы вожатой, Тата принимает подаренную Будкиным панаму за трусы.

Двойственность, диалогичность, смешанность, противоречивость чувств, убеждений, намерений, желаний – суть мироощущения героя, не научившегося бежать от жизни в бизнес, в профессию, успех, благополучие, щедро раздающего себя миру, обреченного на одиночество.

Философское кредо героя и, собственно, пафос всего романа звучит в финале самой напряженной главы «Оба берега реки»: *«Мне больно, но я обреченно рад этой боли. Это – боль жизни»* [Иванов, 2014, с. 429]. В другом эпизоде герой говорит: *«Я-то ничего не теряю, у меня нет ничего»* [Иванов, 2014, с. 189]. Это чисто христианская позиция, утверждающая бренность земного бытия. Однако в то же время Служкин почти физиологически ощущает острую привязанность ко всему земному по-юношески трепетным и по-стариковски усталым, преданным жизни и людям сердцем (весь его путь – любовь к людям и служение людям – Служкин – в имени героя его предназначение).

Финал романа (последняя глава называется «Одиночество») по-своему драматичен и одновременно лиричен: *«Служкин стоял на балконе и курил. Справа от него на банкетке стояла дочка и ждала золотую машину. Слева от него на перилах сидел кот. Прямо перед ним уходила вдаль светлая и лучезарная пустыня одиночества»* [Иванов, 2014, с. 444].

Завершает роман узнаваемая фольклорно-литературная мифологема – крест/перекресток. Кот, сидящий слева, олицетворяет индивидуальные потребности Служкина, дочь, стоящая по правую руку героя в ожидании золотой машины¹, воплощает семейную ипостась героя, и, наконец, открывшаяся перед ним *«светлая и лучезарная пустыня одиночества»* – и есть традиционный выбор героя русской классики – путь, поиск, служение².

Открытый финал в лучших русских литературных традициях всегда оставляет надежду, свет, пространство для раздумий, это, без сомнения, катарсический финал, по-пушкински примиряющий и окрыляющий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. / М.М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1990. – 453 с.

Иванов, А.В. Географ глобус пропил / А.В. Иванов. – М.: АСТ, 2014. – 444 с.

Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Российская энциклопедия, 1994. – Т.2. – 719 с.

Млечко, А.В. Игра, метатекст, трикстер: пародия в «русских» романах В.В. Набокова / А.В. Млечко. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. – 188 с.

¹ В этом казалось бы нелепом образе – явный намек на «девичьи мечты» Нади – вариация на тему принца на белом коне, золотой кареты и пр.: Тата ждет того, чего не дождалась в свое время Надя; золотая машина, таким образом, – это еще одна горькая усмешка Служкина над пустыми амбициями жены и в то же время – комплекс вины перед дочерью.

² Этот выбор (крест) отчасти противопоставляется обывательским и индивидуалистическим приоритетам Запада, которые торжествовали в умах и сердцах постсоветского социума.

Пушкин, А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М.: Художественная литература, 1984. – 255 с.

Ребель, Г. Явление Географа или живая вода романов Алексея Иванова / Г. Ребель // Журнальный зал: Русский толстый журнал как эстетический феномен. – URL: <http://magazines.russ.ru/october/2006/4/re8.html> (дата обращения: 06.08.2014).

Сысоева, О.А. Жанровая специфика романа Алексея Иванова «Географ глобус пропил» / О.А. Сысоева // Филологические науки: вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 2 (32): в 2 ч. Ч. II. С. 184–186.

Цветаева, М. Мой Пушкин / М. Цветаева. – М.: Фолио, 2012. – 220 с.

Цветаева, М. Прохожий / М. Цветаева // Классика.ру. Марина Цветаева. – URL: <http://www.klassika.ru/stihi/cvetaeva/idesh-na-menya.html> (дата обращения: 11.08.2014).

НАД СТРОКАМИ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

А.И. ЖЕРЕБИН¹

*Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена*

СЕРДЦЕ И ГРАНИТ. О СТИХОТВОРЕНИИ РИЛЬКЕ «НОЧНАЯ ПОЕЗДКА»

Идеи творческого преображения жизни, универсального всеединства, волновавшие европейских художников со времен Гете, нашли свое преломление в философско-поэтических исканиях Р.М. Рильке. Разрешение кризиса современной рационалистической культуры поэт видел в особом понимании России и ее культурно-исторической миссии.

Ключевые слова: поэтика стихотворения Рильке «Ночная поездка», мифология Петербурга, мистический образ города-камня и природная органика русского пространства.

A.I. ZHEREBIN

(The Herzen State Pedagogical University of Russia)

HEART AND GRANITE. ON R. RILKE'S POEM "OVERNIGHT TRIP"

R.M. Rilke's philosophical and poetic quest reflects some ideas of creative transformation of life, of a universal unity of all, stirring European artists from the time of Goethe. The resolve of the crisis in modern rationalist culture poet saw in a specific understanding of Russia and Russia's cultural and historical mission.

¹ Алексей Иосифович Жеребин, доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы РГПУ им. А.И. Герцена

Keywords: the poetics of R. Rilke's poem "Overnight Trip", mythology of St. Petersburg, a mystical image of the stone-of-a-city and natural organics of Russian expanses.

В 1780-е годы Гете вынашивал замысел большого космогонического произведения – «романа о мироздании». Один из фрагментов этого незаконченного текста называется «О граните» («Über den Granit», 1784):

«Я не боюсь упрека в том, что, якобы, один только вкус к противоречиям побудил меня перейти от изучения и описания человеческого сердца, этого самого юного и подвижного, самого разнообразного и изменчивого, самого уязвимого из предметов сотворенного мира, к наблюдениям над древнейшим, прочнейшим, глубочайшим и наиболее неподатливым порождением природы – гранитом. Ибо трудно не признать, что все вещи в природе образуют точно продуманное всеединство».

«Ich fürchte den Vorwurf nicht, dass es ein Geist des Widerspruchs sein müsse, der mich von Betrachtung und Schilderung des menschlichen Herzens, des jüngsten, mannigfaltigsten, beweglichsten, veränderlichsten, erschütterlichsten Teiles der Schöpfung zu der Beobachtung des ältesten, festesten, tiefsten, unerschütterlichsten Sohnes der Natur geführt hat. Denn man wird mir gerne zugeben, dass alle natürlichen Dinge in einem genauen Zusammenhange stehen» [Goethe, 1908, S. 362].

Сердце и гранит или «Я» и камень образуют два полюса единого силового поля, которое можно определить как природу, как творение: казалось бы, речь идет о противоположных понятиях, но с пантеистической точки зрения Гете они связаны благодаря божественному всеприсутствию.

В натурфилософии Гете, в его «спокойном пантеизме» [Жирмунский, 1914, с. 25] уже зреет мистическая вера романтиков в тайную связь между всеми существами. Столетие спустя тайна «великого целого» становится главной темой неоромантической поэзии, в особенности, у Р.М. Рильке – поэта, о который, отметила Н.С. Павлова, «видел каждую вещь в отношении к целому, стремился, чтобы в поэзии открылся мир без разъединяющих его границ» [Павлова, 2007, с. 28].

В истории «О человеке, который слушал камни» («Von einem, der die Steine belauschte») из книги Рильке «Рассказы о господе Боге» («Geschichten vom lieben Gott», первое издание – 1900 год, второе – 1904) рассказчик подбадривает своего больного друга Эвальда, сочиняя для него историю о Микеланджело, о том, как во время работы ему заглядывает через плечо Бог и видит «руки, прислушивающиеся к камню»:

«Почему это человек слушает камни? Вот руки его встреपнулись и потревожили камень, словно гробницу, в которой трепещет слабый, умирающий голос. “Микеланджело, – крикнул Бог в испуге, – кто это в камне?”. Микеланджело прислушался; его руки дрожали. Потом глухо ответил: “Ты, Бог мой, кто же еще. Но мне не добраться до тебя”. И тогда почувствовал Бог, что он есть и в камне, и стало ему боязно и тесно. Все небо было как один камень, и он был заточен в этом камне и мог надеяться лишь на руки Микеланджело, которые когда-нибудь его освободят; он слышал, как они приближаются, но еще издалека. <...> Мой больной друг открыл глаза, и вечерние облака подхватили его взгляд и понесли куда-то по небу. «Разве Бог там?» – спросил он. Я молчал. Потом наклонился к нему: “Эвальд, разве мы – здесь? И мы радостно пожали друг другу руки”».

«Warum belauschte dieser Mann die Steine? Und nun erwachten ihm die Hände und wühlten den Stein auf, wie ein Grab. “Michelangelo, rief Gott in Bangigkeit: Wer ist im Stein?”. Michelangelo horchte auf, seine Hände zitterten. Dann antwortete er dumpf: “Du, mein Gott, wer denn sonst; aber ich kann nicht zu Dir”. Und da fühlte Gott, dass er auch im Steine sei, und es wurde ihm ängstlich und enge. Der ganze Himmel war nur ein Stein, und er war mittendrin eingeschlossen und hoffte auf die Hände Michelangelos, die ihn befreien würden. Und er horchte sie kommen, aber noch weit. Mein lahmer Freund hob seine Blicke und duldete, dass die Abendwolken sie mitzogen über den Himmel hin: “Ist Gott denn dort?” – fragte er. Ich schwieg. Dann neigte ich mich zu ihm: “Ewald, sind wir denn hier?”. Und wir hielten uns herzlich die Hände» [Rilke, 1966, S. 78].

В 1899 году Рильке еще не знал, кажется, Родена, вдохновителя его «Новых стихотворений». Но рассказ о Микеланджело представляет

интерес потому, что он как бы перебрасывает мост от фрагмента Гете «Гранит» к маленькому поэтическому шедевру «Ночная поездка» («Nächtliche Fahrt», 1906), включенному Рильке во вторую часть сборника «Новые стихотворения» с подзаголовком «Санкт-Петербург». Так же, как и «Истории о господе Боге», это стихотворение отразило впечатление Рильке от его поездок в Россию (1899 и 1900 годов), возродивших в его сознании глубокую традицию мистического пантеизма¹ – то «резонантное пространство» [Топоров, 1993, с. 15], в котором мотив петербургского гранита получает философское звучание.

Размывая границу между внешним и внутренним, объектом и субъектом, Рильке ставит под сомнение порядок современного мира. Символическое имя объекта – камень, субъекта – сердце. Лирическое «Я» предстает у Рильке как относительная величина, как взаимосвязь «Я» и «Другого», которые отказываются каждый от своей изолированности, от обедняющего их антагонизма, и, проникаясь друг другом, образуют сверхиндивидуальное синкретическое двуединство «Я-Другой» [Бройтман, 2001, с. 223], определяющее субъектно-образную структуру стихотворения.

Ночная поездка

Санкт-Петербург

- (1) В этот час, когда мы на высоких
- (2) вороных орловских рысаках –,
- (3) между тем, как отсветы в далеких
- (4) неурочно-ранних площадях
- (5) занялись причудливо-новы –,
- (6) мчались, нет: взвивались, взлетали
- (7) и дворцов громады огибали
- (8) к набережным веющим Невы,
- (9) растревоженные долгим бдением
- (10) в эту ночь без неба, без земли,
- (11) полную цветением и брожением,
- (12) что густой волной обволокли
- (13) Летний Сад, где в чаше синеватой,

¹ См. об этом: [Азадовский, 2010].

- (14) мимо нас толпа туманных статуй
 (15) отходила, тая, без возврата –:
 (16) в этот час тот город стал
 (17) исчезать, как будто он познал,
 (18) что совсем он не был; он устал,
 (19) как безумец, чей несменный бред
 (20) вдруг рассеялся, и, безоружный,
 (21) понял он, что бремя долгих лет,
 (22) то, что мыслить более не нужно,
 (23) эта мысль упорная: гранит –
 (24) покидает мозг его недужный
 (25) и его навек освободит.

(Перевод А. Биска)

Nächtliche Fahrt Sankt-Petersburg

- (1) Damals, als wir mit den glatten Trabern
 (2) (schwarzen, aus dem Orloffschen Gestüt) –,
 (3) während hinter hohen Kandelabern
 (4) Stadtnachtfronten lagen, angefrüht,
 (5) stumm und keiner Stunde mehr gemäß –,
 (6) fuhren, nein: vergingen oder flogen
 (7) und um lastende Paläste bogen
 (8) in das Wehn der Newa-Quais,
 (9) hingerissen durch das wache Nachten,
 (10) das nicht Himmel und nicht Erde hat, –
 (11) als das Drängende von unbewachten
 (12) Gärten gärend aus dem Ljetnij-Ssad
 (13) aufstieg, während seine Steinfiguren
 (14) schwindend mit ohnmächtigen Konturen
 (15) hinter uns vergingen, wie wir fuhren –:
 (16) damals hörte diese Stadt
 (17) auf zu sein. Auf einmal gab sie zu,
 (18) dass sie niemals war, um nichts als Ruh
 (19) flehend; wie ein Irrer, dem das Wirrn
 (20) plötzlich sich entwirrt, das ihn verriet,

- (21) und der einen jahrelangen kranken
(22) gar nicht zu verwandelnden Gedanken,
(23) den er nie mehr denken muss: Granit –
(24) aus dem leeren schwankenden Gehirn
(25) fallen fühlt, bis man ihn nicht mehr sieht.

Двадцать пять строк стихотворения разделены на три строфы. Синтаксическая структура состоит из двух периодов, первый из которых представляет собой темпоральные предложения с союзами *als* и *während*. В начале 16 стиха временное наречие *damals* вводит главное предложение: *damals hörte diese Stadt / auf zu sein*. (В этот час тот город стал / исчезать). Здесь заканчивается первый период – фрагментарная картина города, возникающая перед глазами и в сознании пассажиров экипажа. С 17 стиха начинается второе сложное предложение, которое продолжается до конца стихотворения и представляет собой развернутое сравнение.

Каркас лирического сюжета образует антитеза *wir (мы)* и *die Stadt (город)*. Мы стремительно едем, город – неподвижно покоится. Прилагательное *glatten* (гладкие, в переводе: *высокие*) в первой строке относится к лошадям, но сверх того, создает ощущение гладкости езды, непрерывного скользящего движения, которое отражается в плавном ритмическом рисунке фразы. Лишь вставные конструкции и обособления создают некоторую угловатость, которая словно дает почувствовать подрагивания экипажа на поворотах. Вещь больше не господствует над словом. Миметическое отношение слова и вещи замещается автономной синтаксической структурой, в которой слово онтологизируется, материализуется, становится трехмерным как камни.

В 3 стихе предложение с союзом *während* (в русском переводе: *между тем*) вводит противопоставление *lagen* и *fuhren*, *glatten Traber* и *lastende Paläste*. Предикативное расширение *nein: vergingen oder flogen* (мчались, нет, взвивались, возлетали) в 6 стихе вызывает не только ощущение скорости, но и чувство бестелесности, нереальности. Ночная езда уводит прочь от реальности. Дворцы включаются в плавное, невесомое движение *wir (мы)* и утрачивают свою тяжесть. Ночное бденье (*das wache Nachten*) путешественников, их сон наяву, тревожный и сладостный одновременно, мотивирован магией белых ночей, когда исчезает, кажется, граница между светом и тьмой, между

небом и землей. Традиционная топка (небо – духовная сфера субъекта, земля – плоть, сфера объекта), дает основание думать, что стремительный полет сквозь полумрак белых ночей символизирует русский мираж всеединства, иллюзию преодоления дуалистической картины мира.

От давящих своей тяжестью дворцов дорога ведет к *Wehen der Newa-Kays* (к *набережным веющим Невы*) Упоминание набережных Невы актуализирует символическую антитезу камня и воды, традиционный элемент петербургского мифа. В XVIII веке Нева, одетая в гранит, символизировала покоренную стихию; позднее, в эпоху романтизма, гранитные набережные начинают восприниматься как символ застывшей, репрессивной культуры рационалистического века, по отношению к которой речной и морской простор выступают как бунтарская и творческая стихия жизни. Карета и мысль «русского путешественника» Рильке движутся в этом направлении – от города к морю, от культуры к природе.

Метафорическое словосочетание *das Drängende von unbewachten Gärten* (букв.: *требовательное брожение неохраемых садов*) образует явную антитезу к неподвижным *Stadtnachfronten* (букв.: *шеренгам ночного города*). Образ Летнего сада (*Ljetnij Sad*), таит в себе противоречие: с одной стороны, он вызывает представление о буйной жизни природы, о болотистой почве, на которой по произволу царя-демиурга был воздвигнут каменный город как искусственное инородное тело; с другой стороны, сад с его мраморными скульптурами представляет собой *le paysage de la culture* (термин А.А. Реформатского) [Реформатский, 1922, с. 14], является частью враждебной природе города. В стихах 14–15 это противоречие разрешается, побеждает природа: о мраморных скульптурах Летнего сада сказано, что они словно «падают в обморок», их «бессильные контуры» исчезают, «тая без возврата» (*schwindend mit ohnmächtigen Konturen / hinter uns vergingen, wie wir fuhren*). Динамика езды одерживает верх над статикой каменных изваяний подобно тому, как «вольная» органическая жизнь садов «бродит» и разрастается, угрожая господству искусственного, «умышленного» (Ф.М. Достоевский) города.

Придаточные предложения первых двух строф относятся к главному предложению, которым начинается третья строфа: *damals hörte diese Stadt auf zu sein* (букв.: *тогда этот город перестал быть*).

Это – середина стихотворения и его смысловой центр. Рильке вписывает свой образ Петербурга в уже освоенное пространство петербургского текста, в котором каждое слово становится отголоском чужих слов. К числу наиболее выразительных претекстов, Рильке, вероятно, известных, относится фрагмент романа Достоевского «Подросток»:

«А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне? <...>. Может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека нет здесь настоящего, истинного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, – и все вдруг исчезнет?» [Достоевский 1982, с. 353].

Чей это сон? В последней строфе стихотворения Рильке перспектива изображения меняется. Лирический субъект первых двух строф, обозначенный местоимением «мы», уступает место «герою» – *этому городу (diese Stadt)*, который словно обращается, к путешественникам с речью о самом себе. *Он признает*, что никогда не существовал, *он молит* об успокоении, *он чувствует* себя как безумец накануне исцеления: еще мгновение, и рассеется душевный хаос, и выпадет из больного мозга вековая мучительная мысль, тяжелая и неизменная как гранит. Город перестает быть лишь объектом наблюдения, становится вторым субъектом речи, вступающим в диалог с *мы*. Даже если интерпретировать речь города о себе как фантазию *мы*, перед нами явственный пример «субъектного неосинкретизма» (С.Н. Бройтман), характеризующего поэтику Рильке, начиная с «Часосолова» [Павлова, 2007, с. 35].

Три первых стиха последней строфы содержат очевидное противоречие: как может исчезнуть то, чего никогда и не было (*niemals war*)? Не существовал ли весь этот громадный, давящий город, как и мечта о свободе, лишь в воображении бессонных пассажиров, растревоженных ночным бдением? После того, как Петербург выдает свою тайну, ночная поездка со всеми наблюдениями и размышлениями

от имени *мы* предстает как фикция. Исцеление (исчезновение) Петербурга означает безумие его реципиентов.

В последнем стихе местоимение, обозначающее носителя речи, вновь меняется – *bis man ihn nicht mehr sieht* (до тех пор, пока его более не будет видно). *Man* обозначает третий синкретический субъект речи, который включает в себя и *wir* (мы), и *die Stadt* (город). Образ безумца объемлет то и другое, одновременно напоминая об исторической фигуре Петра Великого. Из своей призрачной реальности город возвращается назад, в больной разум своего «строителя чудотворного», и перестает существовать как материализация его мысли. Имя этой мысли – гранит, символический шифр, превращающий Петербург, столицу рационалистического модерна, всего лишь в навязчивую идею его основателя.

Как известно, Рильке интересовался Фрейдом, а Фрейд, в свою очередь, интересовался археологией: его произведения пестрят археологическими метафорами. «*Saxa loquuntur*» – камни говорят – воскликнул он, делая в 1896 году доклад о своих первых опытах лечения истерии: пациент выздоровел после того, как ему с помощью психоаналитика удалось вспомнить ключевое переживание своего далекого прошлого, «глубоко погребенное под обломками позднейших фантазий» [Gay, 1989, S. 189]. В этом контексте образ гранита допустимо рассматривать как символическое замещение ключевого эпизода из истории современной рационалистической культуры. Ночная езда по тревожно светлым, белым ночам заставляет вспомнить этот эпизод (основание Петербурга) и освободиться от порожденного им безумия – подмены творческого соучастия в божественном замысле верой во всевластие автономного человеческого разума. Безумцу предстоит научиться боготворческому искусству Микеланджело – искусству слышать камни. Тема «русского» стихотворения Рильке – кризис и преодоление рационалистической культуры. Мысль о граните названа у Рильке «предательской», ибо она не знает развития, метаморфозы. Когда Петр-Петербург освобождается от предательской мысли-гранита, заканчивается не только «петербургский период русской истории» (Достоевский), но и вся индивидуалистическая культура европейского гуманизма. В мозгу безумца, породившем, а затем выронившем мысль о граните – «неопределенность» и «пустота» (*leeres, schwankendes Gehirn*). Чем эту пустоту заполнить, Рильке хорошо знал, во всяком в случае в те годы, когда он путешествовал по

просторам России – страны, которая «граничит с Богом» [Рильке, 1971, с. 95], и, противопоставляя Россию Петербургу и Европе, вынашивал в себе религиозную утопию творческого преображения жизни. Краеугольный камень этой утопии известен с древности, но с особой любовью обрабатывался со времен Гете. Таково мистическое чувство присутствия Бога в мире и проистекающая из этого чувства идея универсального всеединства, в котором субъект и объект, дух и плоть, земное и небесное, конечное и бесконечное – сердце и гранит – связаны отношением «нераздельности-неслиянности» [Бройтман, 2008, с. 150]¹ как части одного божественного организма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Азадовский, К.М. Страна-сказка: Райнер Мария Рильке в поисках «русской души» / К.М. Азадовский // К истории идей на Западе: «Русская идея». – СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, Петрополис, 2010. – С. 281-316.

Бочаров, С.Г. Генетическая память литературы. Феномен литературного «припоминания» / С.Г. Бочаров // Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. – М.: Языки славянских культур, 2007. – С. 539-552.

Бройтман, С.Н. Историческая поэтика / С.Н. Бройтман. – М.: РГГУ, 2001. – 418 с.

Бройтман, С.Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики / С. Н. Бройтман. – М.: РГГУ, 2008. – 485 с.

Достоевский, Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. – М.: Правда, 1982. Т. 9. – С. 217-417.

Жирмунский, В.М. Немецкий романтизм и современная мистика / В.М. Жирмунский. – СПб.: Тип. Т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1914. – 207 с.

Павлова, Н.С. Поэтическая речь Райнера Марии Рильке / Н.С. Павлова // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2007. Т. 66. № 1. – С. 28-41.

¹ Ср.: [Тамарченко, 2001, с. 107-112].

Реформатский, А.А. Опыт анализа новеллистической композиции / А.А. Реформатский // Московский кружок «Опояз». Вып. 1. – М.: Опояз, 1922. – С. 3-14.

Рильке, Р.М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи / Р.М. Рильке. – М.: Искусство, 1971. – 456 с.

Тамарченко Н.Д. Эстетика словесного творчества Бахтина и русская религиозная философия / Н.Д. Тамарченко. – М.: РГГУ, 2001 – 197 с.

Топоров В.Н. О «резонантном пространстве» русской литературы (несколько замечаний) / В.Н. Топоров // Literary tradition and practice in Russian culture. Studies in Slavic literature and Poetics. 2003. Vol. XX. – P. 16-60.

Gay, P. Freud. Eine Biographie fuer unsere Zeit / P. Gay. – Frankfurt;M.: Suhrkamp, 1989. – 394 P.

Goethe, J.W. Herz und Granit / J.W. Goethe // Goethe J.W. Werke: 32 Bde. Bd. XXX. – Leipzig; Wien: Bibliographisches Institut, 1908. Bd. XXX. – S. 260-263.

Rilke, R.M. Geschichten vom lieben Gott / R.M. Rilke // Rilke R.M. Sämtliche Werke: 4 Bde. Bd. IV. – Frankfurt;M.: Insel, Bd. IV – S. 52-120.

ЭТНОКУЛЬТУРА

С.А. ГОНЧАРОВ¹, О.М. ГОНЧАРОВА²

*Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена*

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ САМОБЫТНОСТЬ АВТОХТОННОГО СЛОВА (опыт младописьменных литератур Севера, Сибири и Дальнего Востока)³

Понимание феномена младописьменных литератур Севера, Сибири и Дальнего Востока, их самобытности и эстетической значимости нуждается сегодня в новых концептуальных подходах, ориентированных на представление об этнокультуре как коммуникации. Автохтонное литературное слово рассматривается в статье как выражение коммуникативного потенциала этноса.

Ключевые слова: этническая идентичность, этнокоммунитет, коммуникативный потенциал культуры, литературное слово и мифоритуальная традиция, этноэстетическая специфика

S A. GONCHAROV, O.M. GONCHAROVA
(The Herzen State Pedagogical University of Russia)

ETHNO-CULTURAL IDENTITY OF INDIGENOUS LITERATURE (the experience of a newly created written literatures of the Russia's North, Siberia and Far East)

¹ Сергей Александрович Гончаров, доктор филологических наук, профессор, Первый проректор РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

² Ольга Михайловна Гончарова, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

³ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Фольклор и литературное творчество в системе факторов формирования культуры межнациональных отношений в регионах Севера и Арктики», проект № 13-04-00405.

Understanding the phenomenon of newly created written literatures of the North, Siberia and the Far East of Russia, together with their identity and aesthetic value needs today a new conceptual approach that focuses on the notion of ethnic culture as communication. Indigenous literary word is considered in the article as an expression of ethnos' communicative potential.

Keywords: ethnic identity, ethno-communicativity, communicative potential of culture, literary word and mythic-ritual tradition, ethnic aesthetic peculiarity

В современном мире глобальных трансформаций неожиданным образом возник интерес к этничности и «малым» этносам. Социокультура транзитивного «ускользающего мира» (Э. Гиденс) и «утраченной идентичности» (А. Гофман) переживает сегодня своеобразный «этнический бум», который, как ни парадоксально, сопровождается «кризисом конструкта “этнос”» в гуманитарном знании [Головнев, 2012, с. 8], где так и не сложилось целостное понимание этничности как таковой. И дело не только в том, что кто-то создает «реквием по этносу», тогда как другие призывают не «торопиться с заупокойной молитвой по этносу» [Тишков, 2004; Семенов, 2006]. Главной проблемой этнокультурологических разысканий является отсутствие зримого и подлинного базиса для размышлений и обобщений, по сути – этнически «очеловеченного» материала исследования. Этнокультура не только социальный или геополитический феномен, и человек «представляет свой народ не как демографическую величину», этничность «работает как механизм персонификации общности, как внутренний диалог личного и общественного» [Головнев, 2009, с. 53] и, добавим, работает в этнодискурсивном режиме как «говорение» этноса о себе, как необходимые самопрезентация и саморефлексия, связанные с этнической самоидентичностью.

Главенствует в этом ряду литературный дискурс, демонстрирующий сегодня не только свои масштабы¹, но и свою

¹ Например, биобиблиографический словарь «Литература малочисленных народов Севера и Дальнего Востока», выпущенный в 2013

самобытность, способность противостоять вызовам унифицирующей цивилизации. Как заметила О.К. Лагунова, «в условиях кризиса и распада советской цивилизации писатели из коренных малочисленных народов оказались в ситуации наибольшей самоидентификации, практически вне кризиса этнической и гражданской идентичности» [Лагунова, 2011, с. 66]. Однако манифестация этничности, идущая изнутри самих этносов, остается пока вне поля зрения пишущих о проблеме. Видимо, считается, что литература – удел филологии, но и здесь «локальным» традициям пока не нашлось достойного места. Ведь у литературоведения своя тенденция к «глобализации» – всепоглощающее влечение к универсальным классификациям и точным «измерениям» артефактов, что ярко выражается в представлениях о «всемирной литературе», общих путях художественной эволюции, о возможности «ускоренного развития литературы», о выравнивании литературных «линий» в разных регионах мира. Такой видится и поликультурная Россия, где, с общепринятой точки зрения, была успешно осуществлена «культурная интеграция национальных литератур», ее базой стали «общечеловеческие ценности», а «интегрирующим началом послужили гуманистические завоевания русской классической литературы, а также гуманистические воззрения крупных советских писателей разных национальностей» [Кольчикова, 2013, с. 37].

Может ли существовать в этом умело сконструированном общем процессе *Другое*, то, что, по философским замыслам Ж.-Ж. Руссо, позволило бы нам определить самих себя? Возможна ли какая-то *другая* литература, в зеркале которой любая художественная традиция может увидеть и свою самобытность, и распознать этноспецифику иной? В российском пространстве с его многочисленными младописьменными литературами эти вопросы звучат как никогда актуально, особенно остро – по отношению к художественно-дискурсивному опыту литератур коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Господствующий до сих пор «уменьшительно-ласкательный взгляд на северян» [Головнев, 2012, с. 8], снисходительно-патерналистский подход к изучению «северных

году В.В. Огрызко, представляет собой два 600-страничных тома [Огрызко, 2013].

литератур» отодвигают этнокультурные творческие инициативы на периферию литературного поля и формируют мнение об их сугубо региональном характере.

Показательно при этом, что в США художественные произведения коренных индейцев (например, Н. Скотта Момадэя и Л. Силко) не только заслужили внимание читателей и престижные премии, но и давно стали классикой американской литературы. Хорошо известны там и наши «аборигенные» литераторы – особенно А. Неркаги, Е. Айпин, Ю. Вэлла. Удивительным явлением общности писателей стала поэтическая переписка между ненцем Ю. Вэллой и самым известным писателем-индейцем Н. Скотом Момадэем, опубликованная в журнале «Мир Севера» [Ващенко, 2013]. Этот лирический диалог «братьев» по корням, культуре, судьбе оказался более понятным в Америке, знакомой и с творчеством Момадэя, и с переводами произведений ненецкого писателя, в России он остался незамеченным. А потому оптимистично-наивными кажутся такого рода суждения на страницах «Литературной России»: «Ныне уже трудно себе представить культуру нашей страны без этих замечательных литератур. Благодаря творчеству северян суровый полярный край в нашем представлении ассоциируется не только с нефтяными вышками и трубопроводами, но и с огромным, полным тайн и легенд человеческим миром. Простые и бесхитростные песни Срединной земли, земли охотников и оленеводов, согрели человеческим теплом ледяные сибирские просторы» [Колодяжный, 2006]. Творчество северян по-прежнему малознакомо общероссийскому читателю, к тому же – в эпоху литературных «геополитических проектов типа “Кода да Винчи”» отдельные ««антиглобалистские» шедевры» [Елистратов, 2006, с. 214] кажутся слишком скромными и неприметными. Вот и разговор об «этих замечательных литературах» как о «простых и бесхитростных песнях», хотя и исполнен энтузиазма, демонстрирует общее отношение к «северным» литературам, включающее представления об их локальности и, можно сказать, некоторой эстетической недостаточности. Даже сегодня, в эпоху прорыва новых идей и концепций, младописьменные литературы рассматриваются в привычных рамках.

С одной стороны, в историко-литературной перспективе речь по-прежнему идет об идеологических истоках: о резком разрыве с

традиционным укладом, о поре ученичества и освоения/усвоения, что делает ранние тексты этнических литератур идеологически выверенными иллюстрациями к соцреалистической линии. С другой стороны, своеобразие литературных опытов северян усматривается сегодня исключительно в их фольклорно-эпических и мифологических ориентациях, в мифопоэтичности. При всей плодотворности наблюдений такой взгляд на этноэстетическую специфику не лишен односторонности, поскольку приводит к весьма упрощенным выводам. Принято считать, что в литературе народов Севера произошел линейный переход художественного сознания от фольклорного типа мышления к литературному [Пошатаева, 1988, с. 25], что, используя фольклор, «литература приобретает новое функциональное свойство: она становится формой сохранения традиционного эпического фольклора, способом его консервации» [Хазанкович, 2006, с. 100]. При таком подходе, использующем еще и расплывчатые представления о мифе, фольклоре и мифопоэтике, трудно понять во всей масштабности такой творческий феномен, как литературы Севера: творчество есть творчество, а литературный текст – не «камера хранения» или «заповедник».

Тем не менее, связь автохтонной литературы с живой устно-поэтической традицией несомненна, но выстроена она на других основаниях, на иных ментальных интенциях и потенциалах. Мы будем исходить из того, что литературный дискурс является недавно освоенным способом «говорения этноса о себе», а потому – своеобразным медиумом-проводником из прошлого в настоящее и из настоящего в прошлое, то есть ретранслятором в новых условиях основополагающей для этноса «культурной памяти». Для такого «говорения» необходим самобытный коммуникативный потенциал – свой «язык», не сводимый к фольклорным элементам или эпическим сюжетам, а выражающий семантику этнокультуры в ее целостности. Сегодня, оставив позади споры о том, что же объединяет людей в этнические общности, с полной уверенностью можно говорить об этнокультуре прежде всего как о коммуникативном пространстве, которое «в качестве универсального социокультурного механизма» ориентировано «на обеспечение взаимодействия социальных субъектов <...>, на воспроизводство и динамику социокультурных норм и образцов такого взаимодействия» [Дридзе, 1996, с. 145]. Это и

есть, по сути, «форма существования этноса» [Рязанов, 2009, с. 10], в основе бытия которого «лежит особая этническая коммуникация, представляющая собой такое взаимодействие субъектов (индивидуальных и коллективных, реальных и вымышленных), в результате которого происходит трансляция этнических смыслов (этноинтегрирующих и этнодифференцирующих) посредством определённых знаков и символов» [Рудецкий, 2011, с. 14]. Очевидно, что специфика этнокоммунитета северных народов, структура ретранслируемой и сегодня «культурной памяти» определяются не мифом или фольклором по отдельности, а синкретичным единством мифо-ритуальных механизмов порождения и постижения смыслов культуры.

Каким бы ни было положение этноса в социальной истории, он изначально обладает выстроенной коммуникацией и собственным дискурсивным пространством. К сожалению, мы не всегда видим и ощущаем их, распознаем механизмы, регулирующие специфику этнокультурного дискурса. Непонимание его природы отчуждает *иное* и *чужое* как примитивное от пространства культуры, нивелирует ценность *иного*. Показательно, что и сам интерес к коммуникативным аспектам этнокультуры в отечественной науке оказался на периферии научной традиции, несмотря на классические работы Э. Холла и Д. Трагера «Культура как коммуникация» (1954) и «Немой язык» (1959). Почти не востребованы сегодня, например, работы С.А. Арутюнова, полагавшего, что в основе этноса «лежат сгустки коммуникационных информационных связей», которые, в отличие от информационных элементов иных социальных групп, отличаются целостностью, лишены «всякой выборочности» и представлены в «их всеобщей совокупности» [Арутюнов, 1995, с. 7].

И в самом деле, различные типы культур разнятся отнюдь не «возрастом» или «развитостью», а прежде всего – способами организации коммуникации, механизмами накопления, хранения и передачи информационных потоков. Конечно, разность культур, отраженная в коммуникативном поведении, сегодня описана, но обычно на материале культур, в которых близости больше, чем разности, поскольку они шли параллельными историческими путями и, можно сказать, находятся на одном цивилизационном уровне. Специфика коммуникативного пространства «реликтовых этносов» (Л.Н. Гумилев) практически не исследована, лишь отчасти

представлена в трудах фольклористов и этнологов. Пожалуй, только М.К. Петров в свое время попытался написать о своеобразии кодирования и передачи информации в традиционных, архаичных культурах, об их особых «социокодах» [Петров, 1991].

Традиционные культуры особым образом формируют свою модель коммунитета и коммуникативного режима – в ней главенствует *Слово (Имя)*, сложно устроенная «устная» форма «культурной памяти», обрядово-ритуальная организация информации и поведенческих стратегий. Важнейшим свойством традиционного коммунитета является изоморфизм семиотических систем и «языков» культуры, которая «склонна многократно передавать свои сообщения в различных кодовых системах, тем самым как бы страхуя себя от содержательных потерь» [Неклюдов, 2008, с. 20]. Это совершенно особая организация, которая и позволила Северу в древности стать «родиной крупных народов и мощных культур» [Головнев, 2012, с. 7], сохранивших свой этнический потенциал и в XXI веке. Культуры нового времени (письменные) организованы иначе, поскольку «появление письменности не усложнило, а упростило семиотическую природу культуры» [Лотман, 1992, с. 106], которая потеряла знаково-смысловую целостность и синкретичность. В традиционной коммуникации включенность *человека, слова, вещи и действия* в ритуально-обрядовый циклический повтор обеспечивала не только долговременную сохранность этнокультуры и «культурной памяти», но и ее высокую адаптивность и к новым условиям, и к новой информации, и к новым медиальным средствам. Так и новая знаковая система (письменность), и новый вид текстовой (литературной) деятельности, хотя и были необычными для северян в 1930-е годы, оказались «втянутыми» в привычную парадигму как продиктованная временем возможность актуализации в новых условиях исконной этнической коммуникации. Если раньше здесь главенствовало сакральное, совершенное устное *Слово*, то теперь – пусть и много потерявшее, письменное, но все-таки – *Слово* как смысловой сгусток традиции.

Поэтому и восприятие слова, литературы, текста, книги в северных этнокультурах совершенно особое. Например, Ю. Шесталов пишет: «А для меня книга – это лес, где я еще не был, строчки – дорожки, по которым я еще не прошел, слова – деревья, которых я не

знал и не знаю, что на них растет, какие звери в ветвях их прячутся» [Шесталов, 1997, с. 46–47]. Не зная законов этнического семиозиса, можно понять такие суждения именно как «простые и бесхитростные», возможно – даже и нарочитые. Между тем перед нами – зрелое, выверенное высказывание художника-интеллектуала, воспроизведенное на русском языке, но созданное по коммуникативным законам своего этноса – народа манси. Автор говорит здесь о творении текста, но не как об индивидуальной смысловой интерпретации мира, а как о смыслопостижении, заново требующем словонаречения или именованя. Сходным образом мыслит о тексте и хантыйский писатель Е. Айпин: «Эту книгу я начал писать со дня своего рождения. Так мне казалось. Но сейчас думаю, что, возможно, она зародилась задолго до моего появления на свет. Ведь ее писали моя Мама и мой Отец, моя Бабушка и мой дед Роман, мой Крестный отец, старец Ефрем и мой прадед Иван. К ее рождению причастны многие мои сородичи – близкие и дальние родственники, мои Братья и Сестры, Реки и Озера, Боры и Урманы, Звери и Птицы, Деревья и Травы. И, разумеется, Боги и Богини Земли и Неба...» [Айпин, 1998, с. 5]. Слово, в понимании писателя, принадлежит общей природной и родовой логосфере, оно не возникает, а предсуществует, и в акте творчества лишь вновь выявляет свое смысловое бытие по законам ритуального повтора.

Столь же своеобразное отношение к тексту сохранилось в повседневной жизни ханты до сих пор. В одной из своих работ М.А. Лапина описала процесс проверки русского перевода фольклорного текста: «Для этого мы обратились к молодой женщине – знатоку того диалекта хантыйского языка, на котором легенда была записана. <...>. По ее рассказам, вначале она растерялась, так как в тексте речь идет об ее родовом духе-покровителе и ей рано еще работать с текстами подобного рода. Она обратилась к родителям <...>, и те посоветовали, чтобы она соотносила все свои действия в отношении текста с лунным циклом. В период новолуния женщина повезла текст к родителям, чтобы решить, можно ли ей работать с ним. Родители отнесли к тексту на бумаге как к святыне: занесли в помещение только после того, как окурили дом, перенесли в угол со святынями, положили на желтое сукно, поставили перед текстом угощение и только после этих действий продолжили разговор. Старшие члены семьи были удивлены, что через сто с лишним лет текст с информацией об их духе-

покровителе вернулся к ним почти без изменений на бумаге. Дочь вместе с предписаниями о поведении по отношению к тексту получила от родителей разрешение на работу с ним. После сверки русского перевода с хантыйским текстом он был возвращен нам обернутым в желтое сукно с наказом работать с ним только во время новолуния. После этого по правилам, принятым в хантыйском обществе, нами был передан подарок для родителей девушки, а позднее родители отдарились, отправив нам желтый платок» [Лапина, 2009, с. 96-97].

Данный пример, заключает М.А. Лапина, подтверждает, какую «немаловажную роль играют небесные светила: лунный цикл и солнечный свет» в фольклоре хантов [Лапина, 2009, с. 97]. На наш взгляд, здесь более примечательно необычное отношение к слову или словесному текст: само значение слова оказывается для носителей традиционной культуры гораздо существеннее, чем форма его передачи (устная или письменная), а сам текст они легко включили в устойчивый ритуально-обрядовый жизненный цикл как ценность высшего порядка. Именно этим вполне объясним тот факт, что литературы Севера так легко освоили именно письменную, литературную передачу слова, поскольку, по всей видимости, для традиционной этнокультуры слово важнее его знаковой формы.

Так в эпоху глобальных перемен литературное слово вобрало в себя коммуникативный потенциал мифо-символических структур, ответственных за сохранность этнических смыслов, а литературная деятельность стала необходимой для культуры формой самоопределения и самоидентичности. Неслучайным в этой связи стало сравнение этнических писателей с шаманами, сформулированное А. Ващенко: «Воистину, чтобы выжить в качестве представителя своей культуры, писатель должен взять на себя функции шамана-целителя, соединителя миров и ступить на путь добровольной жертвенности. Подобная роль естественно вытекает из магической функции устного слова, изначально присущего аборигенной традиции» [Ващенко, 1997, с. 10]. Позднее такое определение особой функции этнического автора станет постоянным. И. Гобзев свою статью об Е. Айпине назовет «Каждый настоящий писатель – это шаман» [Гобзев, 2013]. Е. Перехвальская в очерке об известном хранителе удэгейской культуры, писателе А. Канчуге заметит: «Конечно, учитель русского языка и литературы, в прошлом

директор школы, не может стать шаманом и взять в руки бубен и колотушку. Но он может взять ручку и лист бумаги. И стать писателем» [Перехвальская, 2009, с. 80].

Сравнения, только кажущиеся метафоричными, верно выражают связь коммуникативной позиции современного писателя с хранителем сокровенных смыслов этнокультуры. Правда, многое изменилось и в этнических сообществах, и пишут сегодня в основном на русском языке, но традиционные взгляды и самобытность проявляются и в этих, уже, казалось бы, совсем не аутентичных условиях. Вот так эту проблему представляет Ю. Вэлла в предисловии к своей книге «Белые крики»: «Потеряв лучших сказителей, наш народ замолчал. Одни испугались, другие не умели исполнять, а умели только слушать, третьи – молодежь, которую вбирает в себя новый жизненный поток <...>. И вот умолкли Медвежьи Игрища, песни, молитвы, сказки, не слышен или стал редко звучать художественный язык. Но сказки мы все равно слушаем. Моя бабушка изобрела для этого новый способ. Она сначала поет часть сказки традиционно, а чтобы мы поняли, о чем идет речь, пересказывает содержание на разговорном языке. <...>. Я застал сказки и песни бабушки только в такой форме, и поэтому, наверное, творчество мое – это смесь прозы со стихами. Трезвые прозаические куски как бы дополняют, разъясняют более эмоциональные поэтические строки. Поэтому, наверное, творческий язык мой – это ненецко-хантыйско-русский язык в ненецко-хантыйско-русской форме. Но на каком бы языке, в какой бы форме мой герой ни изъяснялся, понятия любви, добра и зла, справедливости, ностальгии, измены, сложные взаимоотношения человека с человеком, человека с окружающим миром – все это так же присуще ему, жителю моего стойбища» [Вэлла, 2000, с. 7].

Литература северных народов, возникающая уже в новое время, и стала в новых условиях ретранслировать утрачиваемое традиционное коммуникативное пространство. Пусть это и было похоже на «изобретение нового способа», как у бабушки Ю. Вэллы, но такая новация была необходима в ситуации «смены эпох», поскольку стала единственной опознаваемой ритуально-дискурсивной «скрепой» между прошлым и настоящим, единственной возможностью этноса «говорить» и быть собой. Неслучайно Ю. Вэлла одну из своих лучших,

как он сам считает, книг назвал «Поговори со мной»¹. Репрезентируемые в литературных текстах этнокоммуникативные аспекты инициируют тематический спектр, особые жанровые формы и дискурсы в литературе Севера. Так, принципы коммуникативного режима, помимо того, что они явлены как художественное высказывания автора, могут быть прямым предметом художественных размышлений («Молчащий» А. Неркаги, «Поговори со мной» Ю. Вэллы). Внутренняя структура текстов северных писателей насыщена коммуникативными фрагментами: они включают ситуации рассказывания, говорения, диалога, слушания, молчания.

А.В. Головнев в своих размышлениях о северных «говорящих культурах» отметил это особое внутреннее свойство этнической традиции – «“знать и уметь все”, говорить (или молчать) на всех языках, и не только человеческих <...>, но и “древесном”, “зверином”, “земляном”, “вещном”». Из этих языков и говорений, отмечает исследователь, «мало-помалу складывается тот странный язык культуры, на котором читаются и самые священные мифы, и самые обыденные события» [Головнев, 1995, с. 31]. Действительно, в текстах Е. Айпина или А. Немтушкина, например, может говорить все (птицы, звери, вещи и т.д.), но это отнюдь не фольклорная примета или дань мифологическому анимизму, это образ особого и самобытного сообщества, позволяющего человеку этнокультуры принимать и понимать мир в его целостности. Понимание возможно и при молчании, которое, хотя и известно европейской традиции, является показательным элементом этнической коммуникации, поскольку обусловлено «гиперсемиотичностью северной культуры» [Третьякова, 2006, с. 89]. «Говорящее молчание», которое является «одной из важных коммуникативных особенностей» картины мира ненецкого народа, ярко представлено, например, в повести А. Неркаги «Белый ягель» [Третьякова, 2006, с. 89] или в книге Ю. Вэллы «Белые крики». Например: «Вообще-то бабушка моя была разговорчивой. Но иногда <...> стоим и молчим перед спокойными водами реки. Но наши сердца не молчат. Они продолжают беседовать. Незримо-неслышно она передаёт мне свои ощущения, своё восприятие мира. Нет, она не передаёт мне своих мыслей. А я начинаю видеть её глазами нашу

¹ См. об этом: [Корниенко, 2008, с. 22].

залитую солнцем прохладную реку, я начинаю слышать её ушами дальше курлыканье журавлей за болотом, я начинаю воспринимать её сердцем наше стойбище и каждый звук, каждый шорох, каждый вздох в нём» [Вэлла, 2000, с. 99].

Этнокоммуникативный режим становится предметом рефлексии и в текстах, связанных с изображением самобытных принципов освоения этнокультуры и этносоциального опыта. Представлены они популярной в северных литературах формой «детской автобиографии»: любой заметный писатель имеет свой опыт создания таких текстов (первые созданы уже в 1930-е годы). Автобиографии северян резко отличаются от европейской литературы о детстве тем, что в их центре – не индивидуальное *Я*, а коллективное *Мы*, и мир ребенка разомкнут в большой мир, в процесс «обретения людей и себя, отечества и мира» [Айпин, 1998, с. 12]. Сам автобиографический герой (часто это очень маленькие дети), включенный в непрерывные и интенсивные коммуникативные потоки и одновременно в акт автокоммуникации (форма *я*-повествования), представляет процесс формирования этнической личности, равной всем другим, своим предкам, своему роду, своей культуре. Список произведений о детстве, структурированных подобным образом, огромен и не может вписаться в рамки статьи. Назовем лишь самые известные на сегодня «автобиографии»: «Там, где бежит Сукпай» Д. Кимонко (1950), «Когда качало меня солнце» Ю. Шесталова (1972), «Розовое утро» В.Н. Ледкова (1984), «Мне снятся небесные олени» А. Немтушкина (1987), «Имеющая имя свое, Желтула-река» Г. Кэптукэ (1989), «У гаснущего очага» Е. Айпина (1998), «Автобиографическая повесть» А.А. Канчуги (2003), «Мансийские напевы» Т. Гоголевой (2006).

Раннее детство осмысливается в таких текстах как образ мифологического первовремени, первоначала, истока гармоничного и целостного бытия: он видится как «счастливая пора», «сказочное время» (Ю. Шесталов), «счастливое детство», «счастливая пора познаний и открытий» (Е. Айпин), «уютный и ласковый мир детства» (Т. Гоголева). Важно, что в таком понимании нет идеализации прошедшего, это действительно мифологическое первовремя и первобытие, «корневая» структура этноса, своеобразная прародина. Во всех произведениях отражается сложный комплекс мифологических и ритуально-обрядовых представлений, организующих вхождение

маленького человека в большой мир этнокультуры: ее смысл и «язык» познаются через общий семиотический фон, через обрядовые формы и поведенческие «тексты» – актуализованные «этномаркеры» воспроизводимой традиции. «Детские автобиографии» кажутся реалистично-этнографическими – они ярко рисуют повседневность и быт, но именно как необходимо полное отображение коммуникативных «сгустков» культурного пространства этноса. В. Ледков, например, так фиксирует возникающее у ребенка сознание причастности к общему миру: «Так запомнилось мне лето, когда проснулось во мне сознание» [Ледков, 1984, с. 314]. «Проснувшееся сознание» – это уже обретенное знание о мире и жизни, их устройстве и смысле. Одним из главных условий приобщения к нему и является установление коммуникации – своей, особой и специфичной. Так мир наполняется смыслом, он «говорит» и «отвечает» новому человеку, в нем нет «пустот», коммуникативных неудач: все связано со всем и образует общее смысловое пространство этнического бытия – настоящее, незамутненное и подлинное.

Образ идеального «первовремени», обращенный по логике мифа в *прошлое* и *будущее*, одновременно становится и точкой отсчета в понимании *настоящего* – социокультурной современности, исторические «изломы» которой отражаются в теме отрыва от детства, родины и «корней». Звучит она драматично (например, в книге Н. Ядне «Я родом из тундры» или в рассказе В. Гаврильевой «Туярыма-Куо»), а подчас и трагично («Анико из рода Ного» А. Неркаги, «Маленькая Америка» Г. Кэптукэ, «Сон деда» А. Немтушкина), поскольку осмысливается как проблема утраченной внутриэтнической коммуникации и обнуление этнической саморефлексии. Но и в том, и в другом случае литературные тексты активно участвуют в этническом общении: коммуникативные намерения авторов связаны не только с воспроизводством истоков, но обращены и к самосознанию своих современников.

Общие принципы этнического «говорения» о себе или «диалога», рассмотренные нами только на ограниченном круге примеров, определяют структуру, поэтику, тематику, форму и других произведений писателей Севера: лирики, философско-публицистической и исторической прозы и т.д. Но чем более самобытны такие тексты, чем сильнее проявляет себя «сила

автохтонного слова» [Ващенко, 2013, с. 3], тем с большим непониманием относятся к ним литературоведение и критика (например, к роману Е. Айпина «Божья Мать в кровавых снегах» или к философским исканиям А. Неркаги). Но перед нами – действительно *другая* литература, самобытные тексты, возникающие на особых этнокоммуникативных основаниях. «Северные» литературы имеют и свою, четко определенную, антиглобалистскую позицию и свою миссию в глобальном мире – они ответственны за коммуникативный потенциал своей этнокультурной традиции, что и является сегодня «одним из возможных путей практического сохранения культурной идентичности» [Буденкова, Савельева, 2013, с. 43].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Айпин, Е. У гаснущего очага. Повесть в рассказах о верованиях, обычаях и преданиях народа ханты (остяков) Обского Севера / Е. Айпин. – Екатеринбург; М.: Средне-уральское книжное издательство, ЗАО «Фактория», 1998. – 256 с.

Арутюнов, С.А. Этничность – объективная реальность (отклик на статью С.В. Чешко) / С.А. Арутюнов // Этнографическое обозрение. – 1995. – № 5. – С. 7-11.

Буденкова, В.Е., Савельева, Е.Н. Коммуникативный потенциал локальных культур в условиях глобализации: к постановке проблемы / В.Е. Буденкова, Е.Н. Савельева // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2013. – 1(9). – С. 37-43.

Ващенко, А.В. Путь к диву и упоению / А.В. Ващенко // Момадэй Н. Скот. Дух, остающийся жить. – М.: Сфера, 1997. – С. 5-10.

Ващенко, А. Вечное здесь – вечное там. Юрий Вэлла – Н. Скотт Момадэй. Поэтическая переписка / А. Ващенко // Мир Севера. Этнополитический и литературно-художественный журнал. – 2013. – № 1 (83). – С. 23-29.

Ващенко, А. Сила автохтонного слова / А. Ващенко // Гобзев И.А. Цветы во льдах. Литература коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока: наблюдения философа и критика. – М.: Литературная Россия, 2013. – С. 3-12.

Вэлла, Ю. Белые крики. Книга о вечном / Ю. Вэлла. – Сургут: Нефть Приобья, 2000. – 168 с.

Гобзев, И.А. Цветы во льдах. Литература коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока: наблюдения философа и критика / И.А. Гобзев. – М.: Литературная Россия, 2013. – 192 с.

Головнев, А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров / А.В. Головнев. – Екатеринбург: УрО РАН, 1995. – 606 с.

Головнев, А.В. Дрейф этничности / А.В. Головнев // Уральский исторический вестник. – 2009. – № 4 (25). – С. 46-55.

Головнев, А.В. Этничность: устойчивость и изменчивость (опыт Севера) / А.В. Головнев // Этнографическое обозрение. – 2012. – № 2. – С. 3-12.

Дридзе, Т.М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии / Т. М. Дридзе // Общественные науки и современность. – 1996. – № 3. – С. 145-152.

Елистратов, В.Н. Скотт Момадэй. Диалоги Медведя с Богом. Перевод с англ., составление и комментарии А.В. Ващенко / В. Елистратов // Знамя. – 2006. – № 4. – С. 214-217.

Колодяжный, И. Песни срединной земли / И. Колодяжный // Литературная Россия. – № 45-46. 17.11.2006.

Кольчикова, Н.Л. Специфика национального самосознания в хакасской литературе / Н.Л. Кольчикова // Вопросы развития филологии и литературы в России и мире. Современная литература и культурные традиции. Всероссийская научная Интернет-конференция с международным участием Казань, 26 апреля 2013 года. Материалы конференции. – Казань: ИП Синяев Д.Н. 2013. – С. 37-39.

Корниенко, О. Мир Юрия Вэллы / О. Корниенко // Мир Севера. Этнополитический и литературно-художественный журнал. – 2008. – № 3 (60). – С. 22-27.

Лагунова, О.К. Научные версии литературного творчества коренных малочисленных народов Севера и западной Сибири / О.К. Лагунова // Вестник Тюменского государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 60-68.

Лапина, М.А. Об особенностях исполнения и изучения хантыйского сакрального фольклора / М.А. Лапина // Этнографическое обозрение. – 2009. – № 5. – С. 92-98.

Ледков, В. Розовое утро. Романы и повести / В. Ледков. – М.: Современник, 1984. – 512 с.

Лотман, Ю.М. Несколько мыслей о типологии культуры / Ю.М. Лотман // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. – Таллинн: «Александра», 1992. – С. 102-109.

Неклюдов, С.Ю. К вопросу о фольклоре и обряде / С.Ю. Неклюдов // Миф, символ, ритуал. Народы Сибири. – М.: РГГУ, 2008. – С. 11-22.

Огрызко, В.В. Литература малочисленных народов Севера и Дальнего Востока: лица и лики: В 2 т. / В.В. Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2013.

Перехвальская, Е. У последней черты / Е. Перехвальская // Мир Севера. Этнополитический и литературно-художественный журнал. – 2009. – № 6 (69). – С. 73-80.

Петров, М.К. Язык. Знак. Культура / М.К. Петров. – М.: Наука, 1991. – 328 с.

Пошатаева, А.В. Литература народов Севера (Истоки. Становление. Развитие) / А.В. Пошатаева. – М.: Наука, 1988. – 168 с.

Рязанов, А.В. Этнос в коммуникативном пространстве социума. Автореф. дис. ... д. филос. наук. / А.В. Рязанов. – Саратов, 2009. – 43 с.

Рудецкий, О.М. Социально-философский анализ этноса как коммуникативной системы. Автореф. дис. ... канд. филос. наук / О.М. Рудецкий. – Хабаровск, 2011. – 23 с.

Семенов, Ю.И. Торопиться с заупокойной молитвой по этносу вряд ли стоит (об основных идеях книги В.А. Тишкова «Реквием по этносу») / Ю.И. Семенов // Философия и общество. – 2006. – № 2. – С. 94-105.

Тишков, В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии / В.А. Тишков. – М.: Наука, 2003. – 544 с.

Третьякова, Н.Ю. Коммуникативная многозначность молчания ненцев (на примере повести А.П. Неркаги «Белый ягель») / Н.Ю. Третьякова // Вестник Тюменского государственного университета. – 2008. – № 8. – С. 81-90.

Хазанкович, Ю.Г. Фольклоризм повести Г. Кэптукэ «Имеющая имя свое, Джелтула-река» / Ю.Г. Хазанкович // Вестник Якутского государственного университета. – 2006. Т. 3. – № 3. – С. 100-105.



Шесталов, Ю. Когда качало меня солнце / Ю. Шесталов // Шесталов Ю. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. – СПб; Ханты-Мансийск: «Фонд космического сознания», 1997. – С. 23-219.

ТЕКСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

З.И. ТРУБИНА¹

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт

(филиал Российского государственного профессионально-педагогического университета)

ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ КОММУНИКАТИВНОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

В статье автор рассматривает текст как профессионально-коммуникативное системное образование, отражающее фрагмент реальности в вербальной или иной форме в соответствии с позицией автора. Понятие «педагогическая интерпретация текста» трактуется как процесс понимания и осознания будущим учителем ценностно-смыслового содержания информации в определенном личностном и профессиональном контексте. Критериями отбора текстов, подлежащих педагогической интерпретации являются: типичность ситуаций, описывающих фрагмент реальности; позиционность; контекстуальность и интертекстуальность; проблемность; способность текста к эмоциональному и нравственному воздействию; информативность; доступность текста для понимания; авторская интенциональность. Использование текстов в процессе профессиональной подготовки оказывает помощь в развитии способности к интерпретации реальности на основе соотнесения ценностных установок автора текста и читателя-будущего учителя.

Ключевые слова: текст, педагогическая герменевтика, педагогическая интерпретация текста, полилог.

¹ Зоя Игоревна Трубина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков, теории и методики обучения Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиал Российского государственного профессионально-педагогического университета)

Z.I. TRUBINA

*(Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute)
(Branch of the Russian State Vocational Pedagogical University)*

TEXT AS AN OBJECT OF COMMUNICATING AND LEARNING ACTIVITY OF TEACHER TRAINEES

The author of the article treats text as a professional communicative systematic unit reflecting a fragment of reality in the verbal or another form, as viewed by its writer. The notion of pedagogical interpretation of the text is understood as a process of teacher trainees' understanding and realizing comprehensive value-based meaning of the text information in a certain personal and professional context. Texts for pedagogical interpretation should render a typical situation of reality; they must be characterized by a certain positionality, contextuality and intertextuality, they should be problematic, have emotional and moral impact, be understandable, informative, simple and reflect the author's intentionality. Engaging texts in professional education is a tool to develop students' ability to interpret reality on the basis of correlation the writer's value attitudes and the readers' – the teacher trainees.

Keywords: text, pedagogical hermeneutics, pedagogical interpretation of text, polylogue.

Текст является одним из самых эффективных источников системы ценностных представлений, формирующих смысловые образования личности и ее культуру. С позиции герменевтического подхода личностное и профессиональное развитие учителя представляет собой процесс формирования в сознании учителя педагогического образа, в котором воспроизводятся структурные характеристики педагогической действительности. Текст способствует развитию индивидуальности через освоение и воспроизводство человеком культуры мышления, общения, поведения в зависимости от определения своего собственного движения в образовательной среде.

В современном филологическом понимании текст – это сообщение, существующее в виде такой последовательности знаков, которая обладает формальной связанностью, содержательной

цельностью и возникающей на основе их взаимодействия формально-семантической структурой [Лукин, 1999, с. 5]. Анализируя данное понятие, С.А. Васильев отмечает, что границы текста исторически изменялись и расширяли свой объем. Текстами стали считать не только вербальные произведения, но и последовательности невербальных знаков. Все вышеперечисленные объекты объединены понятием «текст», так как несут какое-либо сообщение и составляются по правилам той или иной знаковой системы (языка) [Васильев, 1988].

Л.М. Лузина также рассматривает текст в самом широком смысле «...как слово, предложение, письменный или разговорный текст, ситуация, поступок, поведение, жизнь в целом, продукты духовного творчества воспитанников (других субъектов воспитательного процесса), их откровения, автобиографии, дневниковые записи, письма, и т.д.» [Лузина, 2000, с. 74].

По характеру знаков, используемых для создания текста, его структурных основ (языковых средств) различают: 1) вербальные (речевые) тексты и 2) невербальные тексты (последовательности формул, чертежи, графики, схемы, планы, карты, произведения живописи, музыки, фотографии, архитектура, обряды). В зависимости от способа фиксации знаков тексты подразделяют на устные и письменные. Разные типы информации, освещаемые в тексте, позволяют классифицировать их на: 1) разговорные; 2) научные; 3) официально-деловые; 4) публицистические; 5) художественные. Каждый такой функциональный стиль характеризуется определенными целями, для достижения которых из литературного языка отбираются соответствующие средства (лексические, синтаксические, интонационные, образной выразительности и др.) [Стилистика, 2004, с. 51].

Мы понимаем текст, имеющий профессиональную, педагогическую направленность, как профессионально-коммуникативное системное образование, отражающее фрагмент реальности в вербальной или иной форме в соответствии с позицией автора.

Критериями отбора текстов для педагогической интерпретации являются: типичность ситуаций, описывающих фрагмент реальности; позиционность (соотношение позиций и смыслов, присущих автору текста, читателю, педагогу и проявляющихся в педагогической ситуации); контекстуальность и

интертекстуальность – связанности данного педагогического текста с аналогичными для него текстами (термин Е.С. Кубряковой) [Кубрякова, 2004, с. 517]; проблемность педагогической ситуации или проблемного вопроса, заложенного в тексте; способность текста к эмоциональному и нравственному воздействию на будущих учителей; информативность, способствующая удовлетворению познавательных потребностей, обогащению мироощущения, педагогических ценностных ориентаций; доступность текста для понимания и представленность модели ситуации текста в сознании будущего учителя; авторская интенциональность (реализация текстом какого-либо замысла).

В теории знаково-контекстного обучения (А.А. Вербицкий) понятие «текст» трактуется предельно широко. Под ним, в частности, понимается человеческий поступок и реплика, или визуальный текст, являющийся разновидностью текста невербального [Вербицкий, 1991]. Визуальный текст может быть представлен фотографиями, жестами, мимикой, поступками, рисунками детей. В его интерпретации целесообразно ориентироваться на принцип экстраполяции свойств, выделенных при толковании традиционных текстов, на анализ детских артефактов с точки зрения своевременного выявления в них “зажимов” в психике ребенка, для того, чтобы помочь в их преодолении, упредить появление комплексов.

Поведение учителя также возможно рассматривать как аналог завершенного текста, существующего в некоторой интерпретации. Суть параллели между письменным текстом и действием лежит в том, что оба оторваны от своих авторов и поэтому могут читаться независимо от смысла, вложенного в них. В этом случае поведение выступает как цепь знаков, читаемых окружающими [Ильин, 2000].

Интерпретация текста идет через призму ценностных установок и субъектного опыта будущего учителя. И читаемый также в той или иной мере осознает, что его читают, и строит свое поведение с учетом возможного прочтения его последствий.

Поведение педагога является набором «цитат», позаимствованных из различных источников: субъектного опыта, школьной практики, лекции в институте, педагогического текста, СМИ и т.д. – текстов окружающей педагогической культуры.

Педагогическая герменевтика (ее положения во многом созвучны идеям основоположников науки В. Дильтея, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера и др.) является теорией и практикой истолкования и интерпретации педагогических знаний, зафиксированных в письменных текстах, отражающих представления о педагогической реальности, имеющая целью наиболее полное и адекватное присвоение этого знания с учетом социально-культурных традиций, осмысления эмоционально-духовного опыта человечества и личностного духовного опыта субъекта понимания [Закирова, 2001, с. 112].

Понимание текста может быть одновременно и пониманием того, что в тексте непосредственно не дано; оно связано с нормативно-ценностными системами профессионально-педагогической деятельности, а язык выступает в этом случае как одна из этих систем, как нормативно-ценностная система по поводу общения [Гусев, 1985, с. 65]. Творческий элемент понимания, его созидательность являются гуманистической основой интереса к учебе, основой получения удовольствия от научно-исследовательской деятельности. Н.К. Чапаев замечает, что человек понимающий (человек герменевтический) должен стать целью современного образования [Чапаев, 1998].

Посредством интерпретации получаемой информации на индивидуально-личностном уровне происходит формирование ценностно-смыслового отношения к любому предлагаемому знанию. Подготовка педагога к смыслоориентированной профессиональной деятельности позволяет ему успешно действовать в нестандартных ситуациях с большим числом «открытых параметров», осмысливать противоречивую информацию, порождать «личностное знание», выступать в роли интерпретатора, реконструирующего ценностные составляющие знания [Белякова, 2008].

Процедура герменевтической интерпретации педагогического знания представляет собой специально организованную работу с текстом, протекающую в форме полилога с автором текста, студентом-читателем, педагогом и педагогической ситуацией, заложенной в нем.

Педагогическая интерпретация текста имеет свои особенности, как в содержательном, так и процессуальном аспектах. Во-первых, она содержит в себе значительный эмпатический компонент, представляющий собой социально-выработанный способ

индивидуального прочтения жизненных обстоятельств субъекта той или иной ситуации.

Во-вторых, субъект педагогической интерпретации идентифицирует себя с другими людьми, его ролевая экспектация, позволяет вообразить себя на месте другого, представить себе его внутреннее состояние. В-третьих, оценка чужих переживаний – это проекция собственного, не выраженного вовне, поведения. И тот факт, что познавательная деятельность интерпретатора текста аксиологически ориентирована, не лишает содержания знания объективности [Кузнецов, 1991].

В-четвертых, через тексты, содержащие различные ситуации, будущий учитель создает собственную модель поведения, на основании которой он будет воспринимать реальность и действовать в ней в профессиональном контексте.

В-пятых, в соответствии с концепцией М.М. Бахтина, автора текста можно представить как некоего третьего собеседника, формально не участвующего в процессе общения, но играющего роль «точки отсчета», по отношению к которой реальные коммуниканты упорядочивают свои позиции [Бахтин, 1979, с. 149-150]. На каждом шаге полилога его участники не только воздействуют и изменяют личностные смыслы друг друга, но и корректируют свои собственные субъективные оценки и ожидания в соответствии с получаемыми результатами и реакциями собеседника (в данном случае, либо педагога, либо студента).

Процесс понимания текстов в педагогическом контексте представляет собой сложное взаимодействие между самим текстом, внутренней и внешней речью, субъективными ожиданиями, прогнозами, ассоциациями студентов, воспринимающих их. При извлечении смысла из вербального описания ситуации студенты привлекают ввелингвистическую информацию, к которой относятся образы реальности, а также действия в ней. Умение разрешить противоречие предполагает владение «технологией» создания педагогических ситуаций с различными воспитательными целями. Только находясь на уровне психологической готовности к широкому спектру событий и ситуаций в будущем, повышая сопротивление к стереотипам и шаблонам в профессиональной деятельности, обеспечивая проявление самостоятельности в поиске продуктивных

решений, учитель сможет вести себя и поступать творчески. Феномен «столкновения» смыслов (соотнесения различных педагогических ситуаций) способствует более глубокому ценностно-конструктивному пониманию текстов.

На первый план в коммуникативной организации выходят такие понятия как полилогичность, «Другой», конфликт, столкновение, проблема, вопрос, ситуация. Сущность герменевтической интерпретации представляет собой рефлекслирующее проектирование предстоящего педагогического процесса с учетом условий социально-культурного фона с активной включенностью процесса коммуникации. Итогом такого проектирования должно стать не просто извлечение смысла и субъективная интерпретация текста, но и выработка ценностной установки на возможное поведение в заданных им условиях. Вектор интерпретационной деятельности направлен от познаваемого полисмыслового объекта (текста) на воспринимающего субъекта (читателя).

Поскольку педагогика как гуманитарная наука имеет дело со специфическим типом знания, требующим не только регистрации, структуризации и систематизации, но и глубоко личной интерпретации, то ориентирами толкования текстов, являются органическое соединение познания с пониманием и самопознанием, рефлексивной деятельностью; сочетание логико-научного и ценностно-смыслового подходов; применение в интерпретации методов «вчувствования», вживания в постигаемый предмет; опора в понимании на диалог; учет активной роли и творческого участия языка в интерпретации содержания [Закирова, 2001, с. 113].

Интерпретация текста в педагогическом смысле помогает понять ожидания и стремления, сильные и уязвимые места, особенности мировосприятия субъектов образовательного пространства и дает представление об их системе ценностей. На наш взгляд, текст способен оказать неоценимую помощь в профилактике развития и укоренения антиценностей профессии. Наше поведение и чувства часто меняются в соответствии с новой информацией. Толкование текста позволит критически переработать деструктивный субъектный опыт будущего учителя с переоценкой значимости различных его компонентов, в результате чего имеющиеся в наличии

антиценности перейдут в разряд ценностей поведения будущего учителя.

Основными методами такой профилактической работы в рамках обращения к текстам могут являться следующие: анализ собственного школьного детства, мысленное «перенесение» себя в позицию «я на месте другого», реконструкция возможной педагогической логики деятельности, профессиональная рефлексия, выбор одного из альтернативных решений и т.д. [Морозова, 2002]. Текст способствует процессу перевода педагогических мифов и антиценностей с подсознательного на сознательный уровень, и, тем самым, их преодолению.

По мнению А.С. Роботовой, художественный текст позволяет увидеть образы состоявшихся и несостоявшихся учителей, узкую направленность на педагогическую деятельность [Роботова, 1996], которая может привести к полному вырождению учителя как человека, лишенного любви, понимания и сострадания. Посредством текста в совместной работе с преподавателем студент может выявить проблемы в поведении и изменить их. Например, такие, как боязнь решительных действий, отсутствие четких правил, непоследовательность, неоправданная снисходительность, жесткий стиль и т.д. [Тюнников, 2004, с. 156]. Ассоциации, рожденные образами текста, и почерпнутые из субъектного опыта позволяют осуществить перевод мысли на «психолого-познавательный трамплин» для преодоления мифологем и барьеров, вызванных педагогическими стереотипами мышления и поведения [Тюнников, 2004, с.172]. Анализ предлагаемых моделей и привлечение личного жизненного опыта позволяет студентам взглянуть по-другому на отношения с детьми, утвердиться в мысли о значимости нравственных отношений, научиться оценивать поступки других людей и свои собственные с позиции общечеловеческой и профессионально-педагогической морали, приобрести определенный багаж нравственных знаний как фундамент для рационального и ответственного поведения в будущем.

Нам бы хотелось отметить и тот факт, что понимание и последующая оценка персонажей и сущности их поведения меняется в зависимости от контекста – наличного опыта, индивидуальной культуры, других текстов, воспринятых прежде [Гусинский, 1998, с. 8], и временного фона, на котором мы воспринимаем сюжет.

Адекватная интерпретация текста может иметь место только в том случае, если произведение воспринимается на том фоне, который предполагался писателем. Контекст может быть представлен информацией о биографии писателя, социо-культурной и исторической обстановке, позволяющей не только получать информацию, но и вырабатывать интертекстуальные идеи, т.е. вводить другие тексты различными способами. Контекст создан из устойчивых дефиниций (примечаний, вопросов, материалов по теме, критики, собственного проекта студентов – ответов на вопросы педагога, затрагивающих их субъектный опыт).

Контекст представляет собой текст нелинейной структуры, позволяющий читателю выбирать последовательность восприятия информации. При этом будущий учитель становится автором, так как выбор им того или иного текста и установление наглядных связей между ними сравним с ответной репликой в диалоге. Контекст призван помочь толкованию, основная его функция – расширение текста до степени дискурса, формирование некоего ментального мира, мировоззренческого универсума его создателя.

Необходимо учитывать и различать основные механизмы восприятия текста в педагогическом контексте: идентификации (соотнесение личного и социо-культурного опыта, поиск аналогий); рефлексии (оценка поведенческих моделей героев и предполагаемых собственных действий); стереотипизации (поиск в тексте педагогических стереотипов, мифов, заблуждений); эмпатии (сопереживания), внутреннего и внешнего диалога.

Таким образом, можно утверждать, что педагогическая интерпретация текста представляет собой процесс понимания и осознания будущим учителем ценностно-смыслового содержания информации в определенном личностном и профессиональном контексте. Полилогичное обсуждение текста, несомненно, способствует не просто фиксированию и упрочению педагогических знаний, но и выработке норм должного взаимодействия участников образовательного процесса. Хотелось бы подчеркнуть, что понимание, толкование текста одновременно является и процессом самопонимания, познания своего внутреннего мира, самовыражения.

В полилоге, совместной работе преподавателя и студента с педагогическим текстом, проявляется равенство их позиций, поскольку каждый из них раскрывает друг другу те грани предмета,

которые иначе не могут обнаружиться. Полилог преподавателя, студента, автора текста и ситуации носит открытый и дискуссионный характер, в который активно вовлекается и личный опыт студентов в качестве одного из источников содержания профессионального образования. Активная деятельность личности играет также немаловажную роль, т.к. пассивное усвоение истин в готовом виде служит основным препятствием на пути усвоения педагогических ценностей.

Анализ предлагаемых моделей поведения дает богатый материал для накопления этических знаний и формирования представлений и понятий о нравственном поведении.

Совместная работа по анализу педагогического текста способствует актуализации знаний о педагогическом событии (содержательный аспект), характере взаимодействия (методический аспект), позиции учителя и ученика (личностно-субъектный аспект), типе проявленной активности (технологический аспект).

Текст и читатель рассматриваются нами как партнеры, а настоящее чтение – это диалог с текстом, с автором. Любой педагогический текст должен содержать скрытый вопрос. Именно возможность задать тексту вопрос, дать на него ответ, выдвинуть предположение о дальнейшем содержании – все это и есть процесс, при котором возможен диалог с текстом, говорящем о себе в поступках, знаках, символах речи.

Студент не просто решает какую-либо проблему – он вступает в общение с другим «Я», удаленным от него в географическом и во временном отношении.

Психологической основой усвоения ценностной информации посредством педагогических текстов является процесс интериоризации. Внешнее воздействие текста переходит во внутренний план в процессе полилога участников педагогического взаимодействия.

Полилогичность содержания учебного материала предполагает множественность интерпретаций текста в процессе его осмысления. Реализация субъектности деятельности происходит посредством личностной включенности студентов в образовательный процесс в качестве полноправных соавторов «текстов» педагогических ценностных ситуаций, носителей целостного немифологизированного

взгляда на образовательный процесс. Бахтинская идея полилога позволяет увидеть, услышать неповторимый вклад каждого участника педагогического процесса в свершение единого со-бытия.

Текст пробуждает творческий потенциал будущего учителя; делает доступными ресурсные состояния; учит осмысливать свое поведение со стороны, представляя его как определенную роль в определенном сюжете. Одним из главных благотворных последствий в работе с текстом является осознание, дающее возможность принятия и контроля своих душевных процессов. Выход в имитационное пространство реальности стимулирует творческий потенциал будущего учителя, переводя многие проблемные моменты будущей профессиональной деятельности в лично создаваемую модель образовательного процесса.

Можно утверждать, что педагогическая интерпретация текста, позволяет использовать любой текст в решении образовательных задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 323 с.

Белякова, Е.Г. Смыслоориентированная педагогическая позиция / Е. Г. Белякова // Педагогика. – М., 2008. – № 2. – С. 49–54.

Васильев, С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста / В.А. Васильев. – Киев: Наукова думка, 1988. – 238 с.

Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособие / А.А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.

Гусев, С.С. Проблема понимания в философии / С.С. Гусев, Г.Л. Тульчинский. – М.: Политиздат, 1985. – 192 с.

Гусинский, Э.Н. Введение в философию образования / Э.Н. Гусинский, Ю. И. Турчанинова. – М.: Логос, 2001. – 224 с.

Закирова, А.Ф. О роли педагогической герменевтики в гуманизации образования / А.Ф. Закирова // Образование и наука. Известия Урал. науч.-образов. центра РАО. – Екатеринбург, – 2001. – № 3. – С. 107–117.

Ильин, В. Поведение потребителей: учеб. пособие / В. Ильин. – СПб: Питер, 2000. – 224 с.

Кубрякова, Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 506 с.

Кузнецов, В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. Гл. 3. Методологические проблемы гуманитарных наук / В. Г. Кузнецов. – М.: Изд-во МГУ, 1991; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа : <http://elenakosilova.narod.ru/studia3/kuznetsov.htm>. – Загл. с экрана.

Лузина, Л.Н. Теория воспитания: философско-антропологический подход / Л.Н. Лузина. – Псков: Псков. гос. пед. ун-т, 2000. – 186 с.

Лукин, В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа / В.А. Лукин. – М.: Ось-89, 1999. – 192 с.

Морозова, О.П. Актуализация ценностно-смысловых аспектов профессиональной деятельности учителя / О.П. Морозова // Педагогика. – М., 2002. – № 1. – С. 61–68.

Роботова, А.С. Художественно-образное познание педагогической действительности средствами литературы: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / А.С. Роботова; Рос. пед. ун-т. – СПб., 1996. – 358 с.

Стилистика и литературное редактирование / под ред. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2004. – 651с.

Тюнников, Ю.С. Педагогическая мифология / Ю.С. Тюнников, М. А. Мазниченко. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 352 с.

Чапаев, Н.К. Теоретико-методические основы педагогической интеграции: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01 / Н.К. Чапаев; Уральский гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 1998 – 462 с.

РЕЦЕНЗИИ

А.И. КУЛЯПИН¹

Алтайская государственная педагогическая академия

ОТЗЫВ

о диссертации Натальи Леонидовны Шайгардановой «Парк культуры и отдыха как явление культуры и воплощение советского идеологического проекта». – Екатеринбург, 2014.

Изучение культуры советского периода в отечественной гуманитарной науке последних двух десятилетий шло очень непросто. Довольно долго в этом сегменте и количественно, и качественно преобладали труды зарубежных славистов. И только на рубеже XX–XXI вв. стали появляться крупные, концептуально значимые исследования советской культуры, принадлежащие российским ученым. В настоящее время устойчиво высокий интерес к советскому прошлому диктует потребность в активизации работы по собиранию, сохранению и осмыслению культурного наследия ушедшего века. Теоретические модели историко-культурных процессов сталинской, хрущевской и брежневской эпох разработаны достаточно неплохо, сейчас перед учеными, прежде всего, стоит вопрос о расширении сферы исследований, назрела необходимость приложения теоретических схем к конкретному культурно-историческому материалу. В этом контексте актуальность диссертации Н.Л. Шайгардановой несомненна.

Поставив перед собой цель: «осуществить анализ парка культуры и отдыха как феномена культуры» [Шайгарданова, 2014, с. 5], Н.Л. Шайгарданова вышла на решение весьма насущных и злободневных проблем. Садово-парковая культура неоднократно становилась объектом изучения представителей разных научных специальностей: культурологов, искусствоведов, историков, филологов. В отличие от предшествующих работ в диссертации Н.Л. Шайгардановой советский парк культуры и отдыха подвергнут

¹ Александр Иванович Куляпин, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Алтайской государственной педагогической академии (Барнаул)

системному анализу. Автор отстаивает взгляд на парк как на явление культуры, рассматривает его как социокультурный феномен, выделяя три группы выполняемых им функций: идеалообразующую, коммуникативную и культивирования.

Основательно теоретическое оснащение диссертации. Автору удалось гармонично соединить несколько методологических подходов: философско-культурологический, системно-структурный, феноменологический, семиотический, сравнительный и др. Возможно, ограничение количества подходов позволило бы избежать эклектизма методологии, но тогда неизбежно исчезла бы широта и многоаспектность исследования.

Н.Л. Шайгарданова вполне обоснованно считает парк культуры и отдыха воплощением советского идеологического проекта. Основные научные результаты и новизна ее исследования связаны с доказательством зависимости между изменениями в принципах организации и работы парков и ценностно-смысловой трансформацией советской идеологии на протяжении сталинского, хрущевского и брежневского периодов истории СССР.

Пожалуй, наиболее спорным среди положений, выносимых на защиту, является положение № 3: «Советский парк культуры и отдыха представляет собой звено в развитии русской садово-парковой культуры и является особой модификацией публичного городского парка конца XIX–XX вв.» [Шайгарданова, 2014, с. 7]. Для общей концепции диссертации это принципиально важный тезис, ведь непосредственный анализ текстов советской культуры предварен здесь обширным обзором истории садово-паркового искусства, начиная с древнейших времен. Этот исторический обзор обретает смысл только в том случае, если будет выявлена преемственность традиций в устройстве советских парков.

Н.А. Бердяев в статье «Духи русской революции» утверждал: русская революция «движется истребляющей моралью максимализма, она дышит ненавистью ко всему историческому» [Бердяев, 1990, с. 81]. С ним трудно не согласиться. «Ненависть ко всему историческому», безусловно, распространяется и на садово-парковое искусство. А. Блок, например, одну из главных примет революционного хаоса видел в уничтожении парков. «Почему валят столетние парки?», – задает он вопрос в знаменитой статье

«Интеллигенция и революция» [Блок, 1962, с. 15]. Другой характерный симптом послереволюционной эпохи – превращение парков в кладбища и кладбищ в парки. Вероятно, доминирующая тенденция советской культуры – это все-таки разрыв с традицией, а не преемственность.

В первой главе диссертации «Сущность парка как культурного феномена и его культурно-исторические вариации» Н.Л. Шайгарданова детально прослеживает историю возникновения и развития парка, его структуру и смысл. Охват материала в этой главе так велик, что не всегда остается место для его подробного и всестороннего анализа. Ситуация усугубляется тем, что диссертант не соблюдает принцип экономии средств. Неясно, скажем, была ли насущная необходимость в развернутом описании картины В.Г. Перова «Тройка» для иллюстрирования, в общем-то, банального тезиса о тяжелом положении рабочего класса во второй половине XIX века [Шайгарданова, 2014, с. 55–56]? Такого рода отклонения от магистральной линии исследования ведут к некоторой композиционной рыхлости и реферативности этой части диссертации.

Тем не менее, многие наблюдения этого раздела представляются оригинальными и глубокими, хотя порой излишне беглыми. В частности, заслуживает пристального внимания мысль автора диссертации о священной роще как древнейшем прообразе парка [Шайгарданова, 2014, с. 16].

Избыточность материала не помешала Н.Л. Шайгарданова продемонстрировать в ряде случаев великолепное владение техникой анализа текстов культуры. Тонко интерпретируется, например, символика колеса обозрения, ставшего эмблемой практически всех парков развлечений [Шайгарданова, 2014, с. 53]. В параграфе 1.2 с исчерпывающей полнотой вскрыты целых три слоя культурных смыслов этого аттракциона.

В целом, историко-культурный обзор, предпринятый в первой главе диссертации, позволил прийти к убедительному итогу: «Специфические элементы и смыслы русских парков разных исторических периодов оказались встроены в пространственную и символическую структуру парка культуры и отдыха» [Шайгарданова, 2014, с. 58].

Отталкиваясь от выводов первой части работы, во второй главе диссертации «Парк культуры и отдыха как реализация

советского проекта» Н.Л. Шайгарданова выявляет специфику советского парка культуры и отдыха. Диссертант смело вторгается в сферу междисциплинарных исследований. Широкая научная эрудиция позволяет Н.Л. Шайгардановой одинаково уверенно оперировать примерами и фактами из литературы, кино, изобразительного искусства, архитектуры и других источников.

Советская эпоха предельно насыщена историческими, социально-политическими, культурными событиями. Тридцатые годы XX века разительно отличается от сороковых, пятидесятые – от шестидесятых, шестидесятые – от семидесятых и т.д. К очевидным достоинствам диссертации следует отнести тщательную фиксацию динамики культурных процессов: от первого послереволюционного десятилетия до стадии кризиса советского общества и краха советского проекта.

По мнению Н.Л. Шайгардановой, изменение отдельных элементов парка – это чуткий индикатор трансформации ценностно-смысловых основ советского общества. Прекрасно подмечено, что в тридцатых годах из парка начинают исчезать (или уменьшаться) площади – «символ единства трудящихся» [Шайгарданова, 2014, с. 93]. Две части ЦПКиО им. Горького начала шестидесятых годов с очень разным действительным и символическим наполнением, считает Н.Л. Шайгарданова, «диагностировали наличие в культуре двух противоположных позиций» демократической и консервативной [Шайгарданова, 2014, с. 115]. А стоячая вода неработающего фонтана, по ее точному замечанию, «как нельзя лучше характеризует эпоху “брежневского застоя”» [Шайгарданова, 2014, с. 125]. Количество подобных примеров легко умножить.

Общие замечания и вопросы по диссертационной работе

1. Один из главных вопросов касается степени оригинальности искусства и культуры сталинской эпохи. В искусствоведении широко используются понятия «сталинский ампи́р», «сталинское барокко», «сталинский классицизм» и даже «сталинский неоренессанс». Насколько правомерно употребление этих терминов и применимы ли они к характеристике советского садово-паркового искусства 1930–50-х годов?

2. Неточность формулировок есть в пункте «Теоретическая и методологическая основа исследования» введения. Наряду с важными

в теоретико-методологическом отношении работами здесь перечислены воспоминания, архивные материалы, карты, схемы, фотографии, газетные статьи [Шайгарданова, 2014, с. 6]. Все это скорее материал для исследования, но никак не его теоретическая основа.

3. В библиографии отсутствуют некоторые значимые работы, такие, как: «Пространства ликования. Тоталитаризм и различие» (2002) М. Рыклина, «Искусство социальной навигации (Очерки культурной топографии сталинской эпохи)» (2000) Е. Добренко, «Искусство утопии» (2003) Б. Гройса и др.

4. Не лишним было бы привлечение ряда ключевых для понимания своеобразия советского парка текстов. Например, непонятно, почему даже не упомянут фильм Г. Данелия «Я шагаю по Москве» (1963), в котором ЦПКиО им. А.М. Горького показан очень ярко и полно: зеленый театр, кафе, ландышевая аллея, аттракционы, танцы, ресторан и даже колоннада главного входа.

Отмеченные мелкие недостатки, разумеется, не влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации.

Диссертация Н.Л. Шайгардановой является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно, на высоком научном уровне. Проблематика диссертации актуальна. В работе решены важные научные проблемы. Полученные результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы.

Работа базируется на достаточном объеме культурно-исторического материала. Она написана доходчиво, грамотно, хорошим научным стилем. Композиция диссертации логична. По каждой главе и работе в целом сделаны четкие выводы.

Основные результаты диссертации опубликованы в 25 печатных работах (в том числе 3 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ). Отдельные положения работы неоднократно обсуждались на конференциях различного уровня и получили одобрение ведущих специалистов. Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Диссертационная работа «Парк культуры и отдыха как явление культуры и воплощение советского идеологического проекта» отвечает критериям, обозначенным в пп. 9-11, 13-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Наталья Леонидовна Шайгарданова заслуживает присуждения ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бердяев, П.А. Духи русской революции / Н.А. Бердяев // Из глубины: сборник статей о русской революции. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – С. 55-89.

Блок, А. Интеллигенция и революция / А. Блок // Блок, А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6. – М.–Л.: ГИХЛ, 1962. – С. 9-20.

Шайгарданова, Н. Л. Парк культуры и отдыха как явление культуры и воплощение советского идеологического проекта. Дисс. ... канд. культурологии / Н.Л. Шайгарданова. – Екатеринбург, 2014. – 151 с.

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

С.М. КОЗЛОВА¹

Алтайский государственный университет

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАДИЦИИ ТВОРЧЕСТВА В.М. ШУКШИНА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ»

В дни празднования на Алтае 85-летия со дня рождения русского писателя, режиссера, актера В.М. Шукшина 21-25 июля 2014 года состоялась Международная научная конференция **«Традиции творчества В.М. Шукшина в современной культуре» при финансовой поддержке РГНФ и администрации Алтайского края (проект № 14-14-22501).** Конференция проводилась на базе Алтайского государственного университета, а также – Алтайской государственной академии образования им. В.М. Шукшина (база отдыха «Канонерское») и Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина.

В международной научной конференции приняли участие 53 исследователя творчества В.М.Шукшина, из них 5 ученых дальнего зарубежья(США, Бельгия, Польша), 5 – ближнего зарубежья (Латвия, Казахстан), 24 профессора и 17 доцентов ведущих российских вузов. в том числе, МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского государственного лингвистического университета, Московского педагогического государственного университета. Современный этап в шукшиноведении стал временем подведения предварительных итогов, систематизации, каталогизации опыта исследований жизни и творчества Шукшина, результатом чего было издание 3-хтомного Энциклопедического словаря-справочника «Творчество В.М. Шукшина» (Барнаул, 2004), «Шукшинской энциклопедии» (Барнаул, 2011), 8-ми и 9-титомного собрания сочинений писателя с комментариями, словарей языка Шукшина И.А. Воробьевой, А.Д.

¹ Светлана Михайловна Козлова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Алтайского государственного университета

Соловьевой, В.С. Елистратова, Л.И. Шелеповой, Т.Ф. Байрамовой, В.П. Никишаевой и др. Продолжался опыт осмысления мировоззренческих установок писателя, его национального, философско-религиозного сознания, что нашло отражение в монографиях В.К. Сигова, Джона Гивенса, К. Алавердян, в научном сборнике с международным участием «В.М. Шукшин и русское православие», в сборнике статей по материалам последней VIII-ой Всероссийской конференции «Творчество В.М. Шукшина в межнациональном культурном пространстве» (2009).

Работа настоящей научной конференции предполагала развитие исследовательских направлений предшествующего периода. В то же время актуальным и насущным стало выдвижение на первый план новой проблемы, имеющей значение не только в отношении к творчеству Шукшина, но и, в целом, – к русской литературе середины XX века, а именно – проблемы формирования традиций идейно-художественных течений, школ, персоналий этого периода.

Цель конференции – определение места и значения В.М. Шукшина в истории русской культуры XX века, обоснование феномена «шукшинской традиции» и её содержания, проблематизация и прогнозирование направлений развития «шукшинской традиции» в культуре настоящего и будущего времени, разработка методов исследования творчества Шукшина, обусловленных его синтетической природой.

Обзор предшествующего периода исследований творчества Шукшина, обоснование цели настоящей конференции, постановка задач нового этапа развития шукшиноведения предложила в своем докладе **С.М. Козлова**, руководитель проекта РГНФ и Председатель оргкомитета конференции. В докладе **И.И. Плехановой** (д.ф.н., Иркутск) *Образ мира В. Шукшина: трагедия высокого примитива* раскрывается отношение Шукшина к традициям народного искусства, на основе которого формируется собственно шукшинская традиция: «Миропонимание героев соотносится с образцами рефлексии и творческого самовыражения народных художников. Проза Шукшина эволюционирует от наива ранних рассказов к созданию художественной модели негативного и вопрошающего примитива». Продолжением решения этой проблемы стали доклады, освещавшие влияние народной мифологии и фольклора на творчество Шукшина:

Е.Е. Королёвой (Даугава, Латвия.) *Языковой портрет сельских жителей в творчестве В.М. Шукшина, Т.И. Подкорытовой*, (Омск): Семиотика 'бани' и 'субботы' в рассказе В. Шукшина «Алеша Бесконвойный», **Я.П. Изотовой** (Барнаул) *Поэтика заглавия киноповести В.М. Шукшина «Калина красная»*.

В ходе конференции было прослежено, как формировалась художественная «манера» Шукшина в процессе взаимодействия с творчеством его современников. Типологические связи Шукшина и Высоцкого раскрывает В.И.Новиков (Москва), Шукшина и Распутина – Дж. **Майклсон** (США) и **А.С. Вавжинчак** (Краков, Польша), Шукшина и В. Маканина – **Л.К. Вальбрит** (Барнаул), Шукшина и Н. Балкова – **Г.Ц. Бадужева** (Улан-Удэ), Шукшина и А. Вампилова – **Е.О. Фалалеева** (Иркутск). Убедительным подтверждением движения шукшинской традиции в современной прозе стал доклад **В.В. Десятова Шукшин. Литературные посттексты XXI века, в котором анализируются повесть В. Пелевина «Зенитные кодексы Аль-Эфесби» и роман Акунина-Чхартишвили «Аристонмия», шукшинскими претекстами которых стали, по мнению докладчика, фильм «Калина красная» и рассказ «Крепкий мужик».**

Как всегда, большое внимание на конференции было уделено эстетическим, нравственно-философским исканиям В.М. Шукшина: доклады **А.А. Асояна** (Санкт-Петербург) *Поэтика характера в малой прозе В.М. Шукшина*, **В.Д. Мансуровой** (Барнаул) *"Моя философия - мужественная": ценностные основания жизни в новаторском осмыслении В.М. Шукшина (философский анализ, П.П. Каминского* (Томск) *Этическая проблематика в публицистике В. Шукшина*. Особый интерес вызвало выступление протоиерея **С.А. Фисуна** (Барнаул) *Духовные искания В.М. Шукшина*, в котором с иллюстрацией фрагментов из кинофильмов Шукшина-режиссера показана эволюция отношения художника к православно-христианской религии и культуре. Острой дискуссией были встречены доклады Л.Т. **Бодровой** (Челябинск) *В.М. Шукшин как скрытый оппонент современного либерализма: неполитический либерализм писателя в интеллектуально-сатирической прозе и в «Калине красной»* и **З.Я. Холодовой** (Иваново) *Особенности художественного мышления В.М. Шукшина*, – в котором спорным показалось слушателям утверждение, что «в художественном мышлении

В.М. Шукшина доминируют особенности экзистенциального типа сознания».

Весьма существенный вклад в изучение языка прозы писателя внесли доклады ученых-лингвистов. Новые аспекты языкотворчества Шукшина и новые подходы их исследования предложены в докладах **Г.Н. Ивановой-Лукьяновой** (Москва) *Интонация рассказов В.М. Шукшина в аспекте фонологии интонации*, **А.М. Кузнецова** (Даугава, Латвия) *Просторечные штампы в рассказах В.М. Шукшина: прагматический аспект*, **Г.Г. Хисамовой** (Уфа) *Вербализация коммуникативной ситуации в рассказах В.М. Шукшина*, **Л.Б. Парубченко** (Барнаул) *Орфография рассказов В.М. Шукшина*. Значительно углубила представление о своеобразии ономастикона писателя **И.В. Высоцкая** (Новосибирск) *Субстантиваты в ономастике В.М. Шукшина*. Наметила новые перспективы в изучении шукшинской лексики **Л.И. Шелепова** (Барнаул) *Лексикографическое направление в изучении творчества В.М. Шукшина*. Эти и другие доклады были высоко оценены коллегами.

Анализ отдельных текстов, мотивов, ситуаций представил новые, оригинальные версии интерпретации глубинных смыслов в произведениях писателя. Заинтересовано и эмоционально реагировали слушатели на доклад **Т.Л. Рыбальченко** (Томск) *Семантика скандальных ситуаций в рассказах В.М. Шукшина*.

Проблему рецепции творчества В.М. Шукшина в зарубежной, в частности, польской критике глубоко, в исторической динамике исследовала **Г.Л. Нефагина** (Слупск, Польша) в докладе «*Люди земли поймут друг друга*»: *Шукиин в польских научных исследованиях и критике*. В другом ракурсе осветила эту проблему **Г.И. Карпова** в соавторстве с **Н.М. Инякиной** дочерью поэта М.А. Небогатова (Кемерово), показав художественную рефлексию на личность и творчество Шукшина современных поэтов *М.А. Небогатова, И.М. Киселёва, В.М. Баянова, В.М. Ширяева*.

К сожалению, на шукшинских конференциях до сих пор был мало представлен кинематограф Шукшина. Тем более показательным было выступление **И.В. Шестаковой** (Барнаул) с докладом *Онтология русской деревни в фильме «Печки-лавочки»*.

В заочной форме в Международной конференции приняли участие такие известные отечественные и зарубежные исследователи творчества В.М. Шукшина как К.Г. Алавердян (Бельгия), А.А. Дуров (Ставрополь), Н.И. Стопченко (Ростов-на-Дону), О.Г. Левашова (Барнаул), А.И. Куляпин (Барнаул), Н.С. Цветова (Санкт-Петербург), В.К. Сигов (Москва), Н.В. Халина (Барнаул), П.С. Глушаков (Рига), Р.В. Шубин (Познань, Польша), А.Е. Кулумбетова (Казахстан) и многие другие.

В целом в ходе работы конференции были получены следующие результаты: творчество писателя, режиссера, актера В.М. Шукшина рассмотрено в процессе эволюции его эстетических идей, художественных принципов, тем и жанров;

определены направления развития традиций народной культуры и классической литературы в творчестве Шукшина, способы трансляции художником духовно-творческого опыта русской словесности в современное культурное пространство;

представлены новые результаты исследования типологических связей творчества Шукшина с литературой XX века (М.А. Шолохов, А.П. Платонов, «деревенская проза», А.Солженицын, А. Вампилов, В. Маканин, В. Высоцкий), выявлены и описаны тенденции интертекстуальной актуализации личности и творчества Шукшина в литературе XXI века;

продолжены и углублены исследования нравственно-философских, национально-исторических, актуальных политических концепций Шукшина, его аксиологии и художественной антропологии как составляющих духовного содержания «шукшинской традиции»;

намечены пути изучения процесса традиционализации наследия Шукшина как личностной духовно-творческой практики, востребованной в культуре нового века;

особое внимание уделено анализу языка писателя: орфография, фонетика, лексика, риторика, семантика его художественной прозы и публицистики изучены и описаны как специфические средства концептуализации мира и человека, вербализации коммуникативных ситуаций, в том числе, доверительного контакта с читателем;

широко освещены уникальные особенности поэтики Шукшина: принципы характерологии, структура повествования, мотивный комплекс, мифопоэтика, предложены новые версии



интерпретации отдельных произведений писателя, что в совокупности определяет пролонгирующие факторы наследия писателя и режиссера; важным направлением работы конференции в свете заявленной проблемы стало исследование рецепции творчества Шукшина в отечественной и зарубежной критике.

Результаты конференции опубликованы в сборнике научных статей «Традиции творчества В.М. Шукшина в современной культуре: материалы Международной научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения В.М. Шукшина. Барнаул, 20-25 июля 2014г. Отв. ред. С.М. Козлова.– Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2014. – 550с.».

Сборник можно заказать по адресу: 656099, Барнаул, ул. Димитрова, 66, Алтайский госуниверситет, кафедра русского языка, литературы и речевой коммуникации.

Телефон (385 2) 36 -63-34, 36-63-79







У памятника В.М. Шукшину (с. Сростки, лето, 2014)

Фото предоставлены к.ф.н., доц. кафедры литературы АлтГПА
Я.П. Изотовой

ЭКСПРЕСС ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем *Елену Владимировну Капинос*
с утверждением ученой степени доктора филологических наук!



Фото с сайта: http://www.rp-net.ru/publisher/news/index.php?year=2013&SHOWALL_1=1#prettyPhoto



Вышла из печати книга

Капинос Е.В. Поэзия Приморских Альп: рассказы И.А. Бунина 1920-х годов / Научн. ред. Э.И. Худошина. – М.: Языки славянской культуры, 2014. – 248 с. – (Коммуникативные стратегии культуры).

В книге рассматриваются пять рассказов И.А. Бунина 1923 года, написанных в Приморских Альпах. Образуя подобие лирического цикла, они определяют поэтику Бунина 1920-х



годов и исследуются на фоне его дореволюционного и позднего творчества (вплоть до «Темных аллей»). Предложенные в книге аналитические описания позволяют внести новые аспекты в понимание лиризма, в особенности там, где идет речь о пространстве-времени текста, о лиминальности, о соотношении в художественном тексте «я» и «не-я», о явном и скрытом биографизме.

Приложение содержит философско-теоретические обобщения, касающиеся понимания истории, лирического сюжета и времени в русской культуре 1920-х годов.

Книга предназначена для специалистов в области истории русской литературы и теории литературы, студентов гуманитарных специальностей, всех, интересующихся лирической прозой и поэзией XX века.

Научный электронный журнал
«Культура и текст»

Научное издание

Статьи журнала включаются в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ), доступный в интернете по адресу:
<http://elibrary.ru>

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и
иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной
собственности несут авторы публикуемых материалов

Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов статей